

# Нетерпение сердца

**Автор:**

Стефан Цвейг

Нетерпение сердца

Стефан Цвейг

Азбука-классика

Стефан Цвейг – один из популярнейших австрийских писателей. Его книги захватывают читателя с первых строк, щедро одаривая радостью узнавания и сопереживания до самых последних страниц. Это книги из числа тех, о которых принято говорить, что их «проглатывают».

В настоящем издании вниманию читателей предлагается роман Цвейга «Нетерпение сердца» – история трогательной и трагической любви молодого офицера и девушки, прикованной к инвалидному креслу...

Стефан Цвейг

Нетерпение сердца

© Н. Бунин (наследник), перевод, 2013

© Ю. Архипов, статья, 2013

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2013

Издательство АЗБУКА®

\* \* \*

## Триумф и трагедия Стефана Цвейга

Стефан Цвейг – один из самых популярных в мире австрийских писателей. Он захватывает читателя с первых строк любой своей книги, щедро одаривая радостью узнавания и сопереживания до самых последних страниц. Книги Цвейга из числа тех, о которых принято говорить, что их «проглатывают».

Занимательность сюжета, легкость беглого, но аккуратного слога, щемящая душу чувствительность описаний, доступный психологизм диалогов – вот слагаемые такого успеха. Но это еще не все. Не названо, пожалуй, главное, что подкупает обычно простого человека в литературе и что так кратко и точно выразил еще А. С. Пушкин: «И чувства добрые я лирой пробуждал». О чем бы и в каком бы жанре ни писал Стефан Цвейг, он всегда стремился прежде всего к тому, чтобы пробудить в читателе-собеседнике добрые чувства. Он жил заветами и надеждами либерального гуманизма – может быть, слишком прекраснодушного в наш суровый век, но искреннего, возвышенного и пламенного, который разделял с ним и его большой друг Ромен Роллан.

Корни писательства Стефана Цвейга уходят в атмосферу литературно-театральной Вены конца позапрошлого века. О них он поведал во «Вчерашнем мире» – лучших, пожалуй, писательских мемуарах, увидевших свет на немецком языке в двадцатом веке.

Стефан Цвейг родился в 1881 году в семье богатого фабриканта. Обеспеченная, даже процветающая семья жила обычными для этой среды интересами: досуги заполняли оперетта, вечера с известными актерами, музыкантами, художниками, литераторами; художественные выставки и журналы, из которых наизусть заучивались не только новые стихи модного поэта, но и целые абзацы не менее модного театрального или художественного критика. Неудивительно, что такая атмосфера рано пробудила в гимназисте Стефане тягу к собственному сочинительству. С конца девяностых годов Цвейг стал печатать в газетах и журналах стихи и статьи о проблемах современной литературы и искусства. Двадцатилетний автор подвел предварительный итог своей поэтической деятельности в сборнике «Серебряные струны». Стихи были по моде того

времени – томные, «упаднические», или, как их еще называли, «декадентские».

Усердные занятия литературой Цвейг продолжал и в венском университете, где учился на филологическом факультете. В водовороте экспериментальных течений, заполнивших литературную арену Европы начала века, он не сразу нашел свое место. Лишь постепенно Цвейг пришел к духовным ценностям, на которые он мог надежно опираться всю свою жизнь. Неугасимыми путеводными звездами стали для него Л. Толстой и Ф. Достоевский, а из современников – бельгийский поэт-демократ Эмиль Верхарн.

Цвейгу посчастливилось не только лично познакомиться с Верхарном, но и подружиться с ним. Эта дружба, ничем не омраченная, продолжалась до самой смерти бельгийского поэта. Верхарн был к тому времени признанным мэтром, одним из духовных вождей культурной Европы. Он-то и ввел юного Цвейга в литературные круги Парижа и Лондона, Амстердама и Брюсселя. С тех пор понятие «Европа», как признавался Цвейг в своих мемуарах, стало для него равнозначным понятию «родина», тем более что пестролоскусная Австро-Венгрия, на территории которой он родился и рос, была, по словам известного австрийского писателя Музиля, «моделью многоязычной и многоликой в своем единстве Европы». А единство Европы зиждилось, по Верхарну и Цвейгу, прежде всего на гуманистических заветах ее многовековой культуры.

Цвейг был натурой впечатлительной, увлекающейся, импульсивной. Встретившись с интересным человеком или явлением, фактом или идеей в жизни ли, в книге ли – все равно, он сразу же загорался и немедленно принимался за сочинительство. Вряд ли в Европе двадцатого века найдется другой писатель, который столько сил и времени отдал биографическому жанру – от коротких миниатюр, запечатлевших «звездные часы» в истории человечества, до протяженных полотен с подробным описанием жизни и деятельности избранного исторического персонажа – Марии Стюарт или Эразма Роттердамского, Магеллана или Бальзака, Клейста или Роллана.

Увлеченность эта порой была через край, приводила к известной неразборчивости, не лишенной сенсационности. Так, трудно согласиться с той оценкой, которую Цвейг дает, например, Ницше или Фрейдю. Но и заблуждения Цвейга диктовались добрыми намерениями – ему хотелось всех примирить, каждому воздать должное, выделить свой кусочек в возведении общей мозаики европейской культуры. Не борьба, а согласие были девизом Стефана Цвейга, и это сказалось в его самоустранении из жизни.

Жанровая палитра Цвейга чрезвычайно разнообразна. По сути дела, попросту нет жанра, в котором он не испробовал бы свои силы: он писал стихотворения и драмы, очерки и эссе, рассказы и поэмы, исторические репортажи. И все-таки исторический жанр – наряду с психологической новеллой (однажды развитой до целого романа, как было с «Нетерпением сердца») – оказался наиболее плодотворным для писателя.

Интерес к нему пробудила в Стефане Цвейге Первая мировая война. В итоге ее вспыхнула Великая Октябрьская революция в России, обозначившая собой грандиозный по своим масштабам и последствиям исторический сдвиг. Цвейг приветствовал революцию, но увидел в ней «русский путь», не обязательный для «просвещенной» Европы с ее устоями буржуазного индивидуализма, казавшимися ему в основе своей незыблемыми. Исторический прогресс в Европе может быть достигнут, надеялся Цвейг, совместными усилиями деятелей культуры, направленными на проповедь гуманизма. Война поначалу сильно поколебала эти надежды, но не смогла их развеять. Вскоре после ее начала Цвейг присоединил свой голос к страстной проповеди мира, которую повел Ромен Роллан. Пацифистские призывы и увещевания двух братьев по перу, к которым затем примкнули многие другие видные писатели Европы, звучали диссонансом на фоне шовинистической истерии, развернувшейся в воюющих странах и на первых порах затянувшей в свою пучину даже многих прогрессивных художников слова. Мощным антивоенным призывом стал роман Барбюса «Огонь» (1916), горячо поддержанный Цвейгом.

В послевоенные двадцатые годы пацифизм и либерально-индивидуалистический гуманизм Стефана Цвейга, казалось, обрели достаточно прочную почву под ногами. Будущее Европы вновь представлялось безоблачным, а очаги шовинистической истерии, которые давали о себе знать, например, в вылазках фашистов, Цвейг попросту проглядел. Мешали прежние либерально-индивидуалистические иллюзии, заслонявшие от писателя сущность массовых движений – как положительных, так и зловещих, вызванных к жизни ловкой демагогией национал-социалистов.

Эти розовые иллюзии либерала-идеалиста отразились, конечно, и в творчестве Стефана Цвейга двадцатых годов, хотя весь его пафос был, как и всегда, в страстном отстаивании жизнеутверждающих принципов гуманизма. В это время все большее место среди произведений писателя стали занимать различные разновидности исторического жанра – от коротких миниатюр до толстых книг. Свои миниатюры Цвейг объединял в серии, и тогда они тоже

выходили отдельными книгами – как «Строители мира» или «Звездные часы человечества». Строителями мира в них выступают выдающиеся одиночки – полководцы, завоеватели, изобретатели, первооткрыватели, ученые, писатели, деятели культуры. Великие художники слова пользуются, естественно, особым почтением литератора Цвейга и выглядят в его изображении как участники некоей великой, длящейся много веков эстафеты огня, зажженного Прометеем. Но идеализированными оказываются под его пером зачастую авантюристы вроде Казановы или Месмера, далекие от святости монархини вроде Марии Стюарт или Марии-Антуанетты и еще более далекие от каких-либо высоких целей завоеватели мира вроде Александра Македонского или Наполеона. Их появление не объяснено исторически, не дано как результат и следствие неких действующих в истории закономерностей; нет, все они выступают на арену словно кометы, прихотливыми зигзагами прочерчивающие темный небосвод истории. И даже поражением своим Наполеон обязан, по Цвейгу, не исторической обреченности своего дела, а заурядной тупости одного бездарного генерала, на которого он вынужден был в последнюю минуту опереться («Невозвратимое мгновение»). И золотая лихорадка в Америке не порождение исторических обстоятельств, а цепная реакция, вызванная аферой одинокого авантюриста Аугуста Зутера («Открытие Эльдорадо»). И «революцией в скорости сообщения» – телеграфной связью между Европой и Америкой мир обязан энтузиазму упрямого одиночки – Сайруса Филда («Первое слово из-за океана»). А все великие географические открытия – плод героических усилий отважных одиночек («Борьба за Южный полюс»).

Пожалуй, вся тщета индивидуалистических упований открылась Цвейгу только в начале тридцатых годов – когда слишком очевидной стала назревшая угроза фашизма, когда коричневая чума, завладев Германией, стала распространяться по Европе. Черты кризиса прежней веры в двойственность проповеди гуманизма отчетливо проступают в таких художественно значительных книгах Стефана Цвейга этого времени, как «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского» (1933), «Мария Стюарт» (1934), «Кастеллио против Кальвина, или Совесть против насилия» (1936).

Глубокими раздумьями о судьбе великих человеческих открытий наполнена книга «Магеллан» (1938), прославляющая активную деятельность человека на пути познания природы и в то же время не закрывающая глаза на темные стороны действительности, на зловещую тень чистогана, омрачающую и самые славные открытия и деяния. В этой книге – одной из последних работ писателя – Стефан Цвейг решительно порывает с сугубой созерцательностью гуманизма, который привык исповедовать всю свою жизнь. Однако преодолеть депрессию,

вызванную Второй мировой войной, тяготами эмиграции, утратой родины и друзей, Стефан Цвейг не сумел.

Не помогла даже обычная для писателя терапия – работа. А писал в последние годы своей жизни Стефан Цвейг страстно, истово, пытаясь забыться, работой заглушить боль и горечь. За «Магелланом» последовал роман «Нетерпение сердца» (1939), за романом – книга воспоминаний «Вчерашний мир», изданная уже после смерти писателя. А когда в феврале 1942 года, исчерпав остаток душевных сил, Цвейг покончил с собой, на его рабочем столе в одном из отелей далекой от Европы бразильской столицы лежала почти готовая рукопись капитальной книги о Бальзаке, над которой он трудился до самых последних дней.

Можно сказать, что смерть Стефана Цвейга так же на совести фашизма, как и миллионы других его жертв. Цвейг хоть и верил в окончательную победу над фашизмом и внимательно следил за известиями о первых успехах Красной Армии, но, утратив веру в свои идеалы, был душевно сломлен. Его нетерпеливое сердце остановилось в самый разгар исторической битвы с фашизмом.

В единственном романе Стефана Цвейга «Нетерпение сердца» всего явственнее ощущается глубокая, основательная «вчитанность» Цвейга в русскую литературу. Сразу же припоминается Достоевский с его пристрастием к острым, парадоксальным психологическим ходам и самым тайным изломам сознания. Да и сама, как прежде говорили, «интрига» – чувство Гофмиллера к хромоножке Эдит – воспринимается как своеобразная парафраза ставрогинской истории из романа «Бесы». И главную мысль романа (как ее формулирует в романе доктор) о сострадании истинном и ложном, о человеколюбии самопожертвованном и эгоистическом нетрудно возвести к соответствующим художественным построениям великого русского романиста. А тот же резонер-доктор, разве не напоминает он нам собеседника Печорина доктора Вернера из гениального романа юного Лермонтова?

И еще одна русская параллель, на которую в свое время указал известный советский литературовед Б. Сучков: жизнь офицерской среды в глухом гарнизоне у Куприна и Стефана Цвейга, поручик Ромашов и лейтенант Гофмиллер, «Поединок» и «Нетерпение сердца».

В самом деле, лейтенант Гофмиллер – это, конечно, австрийская ипостась Ромашова. Человек слабый, безвольный, нерешительный, он хоть и не лишен

доброй искры в душе, но окружающие условия не дают ее реализовать, и он послушно следует принятому в захолустной офицерской среде времяпрепровождению: кутежам, картам, разврату, чтобы хоть как-то забыться, вырваться из плена постылой, казенной службы. То есть ведет существование достаточно тусклое и обыденное. Как вдруг лейтенант попадает в дом местного богача фон Кекешфальва, где знакомится с его дочерью Эдит. Цвейг умело показывает сложную гамму чувств, их нарастание и «диалектику»: поначалу Гофмиллеру просто льстит, что он принят в столь блестящем доме, он страстно желал бы в нем закрепиться, но досадная оплошность, кажется, рушит его надежды. Потом просыпается что-то вроде теплых дружеских чувств к физически ущербной бедняжке; сочувствие красавчика-лейтенанта к Эдит пробуждает в ней сильное ответное чувство, которое и притягивает и отпугивает Гофмиллера. Постепенно он настолько запутывается в своих переживаниях, что готов идти под венец, чтобы прекратить длящуюся муку и сделать окончательный шаг, но в решительный момент бежит от невесты, чем обрекает ее на гибель.

«Мы в ответе за тех, кого приручаем» – так в «Маленьком принце» сформулировал кредо действенного гуманизма Антуан де Сент-Экзюпери. Именно чувства ответственности за свои действия и поступки, чувства долга перед собой, то есть совестью своей, и ближними – теми, кого он «приручает», и не хватает Гофмиллеру. Другой персонаж романа – доктор, противоположность Гофмиллеру, его антипод. Он «приручил» когда-то слепую женщину и теперь трогательно и неусыпно заботится о ней, стремясь в личных своих отношениях служить высокому, хоть и тернистому предназначению – врачеванию, исцелению людей, облегчению их страданий. За его словами – прожитая им самим и передуманная жизнь, это и придает им особую убедительность: «...Есть два рода сострадания, – отмечает Цвейг в эпитафии. – Одно – малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья... Но есть и другое сострадание – истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости...»

У Гофмиллера как раз такое «нетерпеливое» сердце, его хватает лишь на эгоистическое сострадание, простирающееся до определенных границ, на страже которых зорко стоят собственные интересы и удовольствия. В этом он – истинно сын австрийской литературной традиции, не раз дававшей портрет типичного «господина Карла» – слабодушного, безвольно-созерцательного человека, становящегося рано или поздно игрушкой обстоятельств. Стефан

Цвейг внес в разработку этого национального характера свою лепту – и в многочисленных новеллах, и в единственном своем романе.

Сосредоточившись, казалось бы, на камерных переживаниях и оттенках чувств героя и героини, Цвейг тем не менее не оставляет без внимания и «большую», общую, социальную жизнь изображаемого им периода австрийской истории. Конечно, картина социальной жизни в романе лишена универсальности, многое в ней (например, положение народных масс) даже и не намечено, но по достаточно убедительным фрагментам нетрудно восстановить и общий объективный смысл этой картины, и тот приговор, который выносит ей писатель. С первых и до последних страниц книги, читателя не покидает ощущение обреченности запечатленного в ней мира, в котором все фальшиво: и чувства, и мораль, и духовные, и даже материальные ценности. Тот же богач, аристократ и сноб фон Кекешфальва оказывается никакой не «фон», а обыкновенный ушлый прощелыга, начавший карьеру с мелкой лавочки, каких в ту пору были сотни в еврейских местечках по обе стороны Прикарпатья, и ловкими махинациями сколотивший себе солидный капитал, который, среди прочего, принес ему и фальшивый титул.

Осознав обреченность старого, вскормившего его мира, Стефан Цвейг поведал о нем со свойственной ему искренностью. Но готовности активно участвовать в переделке мира он в себе не обнаружил; тот новый мир, перспективы которого открывал перед ним, например, Максим Горький, казался ему утопией – заманчивой, но несбыточной. В этом, конечно, ограниченность Стефана Цвейга и как мыслителя, и как художника.

Для нас существеннее, однако, его достоинства – гуманизм, неиссякаемая вера в добрые начала человека, честное служение своему призванию, которые обеспечили ему заметное место среди крупнейших прогрессивных писателей Запада двадцатого века от Роллана до Шоу, которые давно снискали ему уважение и симпатию миллионов читателей. Первым, кто заметил и оценил талант Стефана Цвейга, был Максим Горький. «Очень рекомендую Вам изданную „Временем“ книжку Стефана Цвейга, – писал он Федину, – „Смятение чувств“, – замечательная вещь! Прочитайте. Этот писатель растет богатырски и способен дать великолепнейшие вещи»[1 - Федин К. Писатель, искусство, время. М., 1980. С. 280.]. В одной из своих статей Горький писал об «изумительном милосердии к человеку», которое отличает книги Стефана Цвейга.

## Нетерпение сердца

«...Есть два рода сострадания. Одно – малодушное и сентиментальное, оно, в сущности, не что иное, как нетерпение сердца, спешащего поскорее избавиться от тягостного ощущения при виде чужого несчастья; это не сострадание, а лишь инстинктивное желание оградить свой покой от страданий ближнего. Но есть и другое сострадание – истинное, которое требует действий, а не сантиментов, оно знает, чего хочет, и полно решимости, страдая и сострадая, сделать все, что в человеческих силах и даже свыше их».

«Нетерпение сердца», с. 236

«Ибо кто имеет, тому дано будет» – каждый писатель может с легким сердцем признать справедливость этих слов из Книги Мудрости, применив их к себе: кто много рассказывал, тому многое расскажется. Ничто так не далеко от истины, как слишком укоренившееся мнение, будто писатель только и делает, что сочиняет всевозможные истории и происшествия, снова и снова черпая их из неиссякаемого источника собственной фантазии.

В действительности же, вместо того чтобы придумывать образы и события, ему достаточно лишь выйти им навстречу, и они, неустанно разыскивающие своего рассказчика, сами найдут его, если только он не утратил дара наблюдать и прислушиваться. Тому, кто не раз пытался толковать человеческие судьбы, многие готовы поведать о своей судьбе.

Эту историю мне тоже рассказали, причем совершенно неожиданно, и я передаю ее почти без изменений.

В мой последний приезд в Вену, как-то вечером, уставший от множества дел, я отыскал один пригородный ресторан, полагая, что он давно вышел из моды и вряд ли многолюден. Однако едва я вошел в зал, как мне пришлось раскаяться в своем заблуждении. Из-за первого же столика поднялся знакомый и, проявляя все признаки искренней радости, которой я отнюдь не разделял, предложил подсесть к нему. Было бы неверно утверждать, что этот суетливый господин сам по себе несносный или неприятный человек; он лишь принадлежал к тому сорту

назойливых людей, что коллекционируют знакомства с таким же усердием, как дети – почтовые марки, чрезвычайно гордясь каждым экземпляром своей коллекции.

Для этого чудака – между прочим, дельного и знающего архивариуса – весь смысл жизни, казалось, заключался в чувстве скромного удовлетворения, которое он испытывал, если при упоминании какого-либо имени, время от времени мелькавшего в газетах, мог небрежно обронить: «Это мой близкий друг», или: «Да я его только вчера видел», или: «Мой друг А. говорит, а мой приятель Б. полагает», – и так до конца алфавита. Знакомые актеры всегда могли рассчитывать на его аплодисменты, знакомым актрисам он звонил утром после премьеры, торопясь поздравить их; не бывало случая, чтобы он позабыл чей-нибудь день рождения; пристально следя за рецензиями, он оставлял без внимания малоприятные, хвалебные же вырезал из газет и от чистого сердца посылал друзьям. В общем, это был неплохой малый, ибо в своем усердии он руководствовался самыми добрыми намерениями и почитал за счастье, если кто-либо из его именитых друзей обращался к нему с пустячной просьбой или же пополнял его коллекцию новым экземпляром.

Нет нужды подробней описывать нашего друга «при ком-то» – как в насмешку окрестили венцы этих добродушных прилипал из многоликой породы снобов, – любой из нас встречал их и знает, что только грубостью можно отделаться от их безобидного, но назойливого внимания. Итак, покоровшись судьбе, я подсел к нему. Не проболтали мы и четверти часа, как в ресторан вошел рослый господин с молодежью, румяным лицом и сединой на висках; по выправке в нем сразу угадывался бывший военный. Поспешно привстав с места, мой сосед с присущим ему усердием поклонился вошедшему, на что тот ответил скорее безразлично, нежели учтиво. Не успел новый посетитель сделать подбежавшему кельнеру заказ, как мой друг «при ком-то», подвинувшись ко мне поближе, тихо спросил:

– Знаете, кто это?

Помня его привычку хвастать любым, даже малоинтересным экземпляром своей коллекции и опасаясь слишком пространных объяснений, я холодно бросил «нет» и занялся тортом. Однако мое равнодушие только подзадорило этого собирателя имен; поднеся ладонь ко рту, он зашептал:

– Это же Гофмиллер из главного интендантства; ну, помните, тот, что в войну получил орден Марии-Терезии.

Поскольку этот факт вопреки ожиданию не произвел на меня ошеломляющего впечатления, господин «при ком-то» с патриотическим пылом, достойным школьной хрестоматии, принялся выкладывать все подвиги, совершенные ротмистром Гофмиллером сначала в кавалерии, затем в воздушном бою над Пьяве, когда он один сбил три вражеских самолета, и, наконец, когда его пулеметная рота трое суток сдерживала натиск противника. Рассказ свой господин «при ком-то» сопровождал массой подробностей (я их здесь опускаю) и то и дело выражал безмерное изумление по поводу того, что я никогда не слышал об этом выдающемся человеке, которому император Карл самолично вручил высшую австрийскую военную награду.

Невольно поддавшись искушению, я взглянул на соседний столик, чтобы с двухметровой дистанции увидеть героя, отмеченного печатью истории. Но я встретил твердый, недовольный взгляд, который словно говорил: «Этот тип уже что-то наплел тебе? Нечего на меня глазеть». И, не скрывая своей неприязни, ротмистр резко передвинул стул и уселся к нам спиной. Несколько смущенный, я отвернулся и с этой минуты избегал даже краешком глаза смотреть в его сторону.

Вскоре я распрощался с моим усердным сплетником. При выходе я не преминул отметить про себя, что он уже успел перебраться к своему герою: видимо, не терпелось поскорее доложить ему обо мне, как он докладывал мне о нем.

Вот, собственно, и все. Я бы скоро позабыл эту мимолетную встречу взглядов, но случаю было угодно, чтобы на следующий день в небольшом обществе я оказался лицом к лицу с неприступным ротмистром. В смокинге он выглядел еще более эффектно и элегантно, нежели вчера в костюме спортивного покроя. Узнав друг друга, мы оба постарались скрыть невольную усмешку, словно два заговорщика, оберегающие от посторонних тайну, известную только им. Вероятно, воспоминание о вчерашнем незадачливом своднике в одинаковой мере раздражало и забавляло нас обоих. Сначала мы избегали говорить друг с другом, что, впрочем, все равно не удалось бы, поскольку вокруг разгорелся жаркий спор.

Предмет этого спора можно легко угадать, если я упомяну, что он имел место в 1938 году. Будущие летописцы установят, что в 1938 году почти в каждом

разговоре – в какой бы из стран нашей испуганной Европы он ни происходил – преобладали догадки о том, быть или не быть новой войне. При каждой встрече люди, как одержимые, возвращались к этой теме, и порой даже казалось, будто не они, пытаясь избавиться от обуявшего их страха, делятся своими опасениями и надеждами, а сама атмосфера, взбудораженная, насыщенная скрытой тревогой, стремится разрядить в словах накопившееся напряжение.

Дискуссию открыл хозяин дома, адвокат по профессии и большой спорщик.

Общеизвестными аргументами он пытался доказать общеизвестную чушь, будто наше поколение, уже испытавшее одну войну, не позволит так легко втянуть себя в новую: едва объявят мобилизацию, как штыки будут повернуты в обратную сторону – уж кто-кто, а старые фронтовики вроде него хорошо знают, что их ждет.

В тот самый час, когда сотни, тысячи фабрик занимались производством взрывчатых веществ и ядовитых газов, он сбрасывал со счетов возможность новой войны с той же небрежной легкостью, с какой стряхивал пепел своей сигареты.

Его апломб вывел меня из терпения. Не всегда следует принимать желаемое за действительное, весьма решительно возразил я ему. Ведомства и организации, управляющие военной машиной, тоже не дремали. И пока мы тешили себя иллюзиями, они сполна использовали мирное время, чтобы заранее привести массы, так сказать, в боевую готовность. Если уже сейчас, в мирные дни, всеобщее раболепство благодаря самоновейшим методам пропаганды достигло невероятных размеров, то в минуту, когда по радио прозвучит приказ о мобилизации – надо смотреть правде в глаза, – ни о каком сопротивлении и думать нечего. Человек всего лишь песчинка, и в наши дни его воля вообще не принимается в расчет.

Разумеется, все были против меня, ибо люди, как известно, склонны к самоуспокоению, они пытаются заглушить в себе сознание опасности, объявляя, что ее не существует вовсе. К тому же в соседней комнате нас ждал роскошно сервированный стол, и при подобных обстоятельствах мое возмущение неоправданным оптимизмом казалось особенно неуместным.

Неожиданно за меня вступился кавалер ордена Марии-Терезии, как раз тот, в ком я ошибочно предполагал противника.

– Это чистейший абсурд, – горячо заговорил он, – в наше время придавать значение желанию или нежеланию человеческого материала, ведь в грядущей войне, где в основном предстоит действовать машинам, человек станет не более как придатком к ним. Еще в прошлую войну на фронте мне редко встречались люди, которые безоговорочно принимали или безоговорочно отвергали войну. Большинство нас подхватило, как пыль ветром, и закружило в общем вихре. И пожалуй, тех, кто пошел на войну, убегая от жизни, было больше, чем тех, кто спасался от войны.

Я с изумлением слушал его, захваченный прежде всего страстностью, с которой он говорил:

– Не будем обманывать себя. Начнись сейчас вербовка добровольцев на какую-нибудь экзотическую войну – скажем, в Полинезии или в любом уголке Африки, – и найдутся тысячи, десятки тысяч, которые ринутся по первому зову, сами толком не зная почему – то ли из стремления убежать от самих себя, то ли в надежде избавиться от безрадостной жизни. Вероятность сопротивления войне я оцениваю немногим выше нуля. Чтобы в одиночку сопротивляться целой организации, требуется нечто большее, чем готовность плыть по течению, – для этого нужно личное мужество, а в наш век организации и механизации это качество отмирает. В войну я сталкивался почти исключительно с явлением массового мужества, мужества в строю; оказалось, что за ним скрываются – если разглядывать его в увеличительное стекло – самые неожиданные стимулы: много тщеславия, много легкомыслия и даже скуки, но прежде всего – страх. Да, да! Боязнь отстать, боязнь быть осмеянным, боязнь действовать самостоятельно и главным образом боязнь противостоять общему порыву; большинство из тех, кого считали на фронте храбрецами, были мне лично известны и тогда и потом, в гражданской жизни, как весьма сомнительные герои. Пожалуйста, не думайте, – добавил он, вежливо обращаясь к хозяину, состроившему кислую мину, – что я делаю исключение для себя.

Мне понравилось, как он говорил, и я уже собрался было подойти к нему, но тут хозяйка дома пригласила гостей к столу, и, так как нас усадили далеко друг от друга, нам не удалось побеседовать за ужином. Только когда все стали расходиться, мы столкнулись в прихожей.

– Мне кажется, – сказал он, улыбнувшись, – что наш общий покровитель уже заочно представил нас друг другу.

Я тоже улыбнулся:

– И весьма обстоятельно.

– Наверно, изображал меня этаким Ахиллесом и хвастался моим орденом, как своим?

– Что-то в этом роде.

– Да. Им он чертовски гордится – так же, как и вашими книгами.

– Чудак! Но бывают и хуже. Может быть, пройдемся немного вместе, если вы ничего не имеете против?

Мы вышли. Сделав несколько шагов, он заговорил:

– Не подумайте, что я рисуюсь, но, действительно, ничто мне так не мешало все эти годы, как орден Марии-Терезии, – слишком уж он бросается в глаза. Конечно, по совести говоря, когда мне повесили его на грудь там, на фронте, у меня голова пошла кругом. Ведь, в конце концов, если тебя воспитали солдатом и ты еще в кадетском корпусе слышал об этом легендарном ордене, который в каждую войну достается, быть может, какому-нибудь десятку людей, то он и в самом деле кажется звездой, упавшей с неба.

Да, для двадцативосьмилетнего парня это кое-что значит. Вы только представьте себе: стоишь перед строем, все смотрят, как у тебя на груди вдруг что-то засверкало, будто маленькое солнце, а его недосягаемое величество, сам император, на глазах у всех поздравляет тебя, пожимая руку! Но, видите ли, эта награда имела смысл и значение только в нашем армейском мире. Когда же война кончилась, мне показалось смешным ходить весь остаток жизни с ярлыком героя только потому, что однажды, всего каких-нибудь двадцать минут, я был по-настоящему храбр, но, наверно, не храбрее, чем тысячи других; просто мне выпало счастье быть замеченным и – что самое удивительное – вернуться живым. Уже через год мне осточертело изображать ходячий монумент и смотреть, как люди из-за кусочка металла на груди взирают на меня с благоговением; меня раздражало постоянное внимание к моей персоне,

это и послужило одной из причин того, что я очень скоро после окончания войны ушел из армии.

Он немного ускорил шаг.

– Я сказал: одной из причин, главная же была иного порядка, личного, она вам, пожалуй, будет еще понятнее. Главная причина заключалась в том, что я сам слишком сомневался в своем праве называться героем, – во всяком случае, в своем героизме. Я-то лучше всяких зевак знал, что этим орденом прикрывается человек, меньше всего похожий на героя, скорее наоборот – он один из тех, кто очертя голову ринулся в войну только потому, что попал в отчаянное положение; это были дезертиры, сбежавшие от личной ответственности, а не герои патриотического долга. Не знаю, как вы, писатели, смотрите на это, но лично мне ореол святости кажется противоестественным и невыносимым, и я испытываю огромное облегчение с тех пор, как избавился от необходимости ежедневно демонстрировать на мундире свою героическую биографию. Меня и по сей день злит, когда кто-нибудь занимается раскопками моей былой славы; признаться, вчера я чуть не подошел к вашему столику, чтобы отругать этого болтуна, похвалявшегося мною. Почтительный взгляд, который вы бросили в мою сторону, весь вечер не давал мне покоя; больше всего мне хотелось тут же опровергнуть его болтовню и заставить вас выслушать, какой кривой дорожкой я, собственно, пришел к своему геройству. Это довольно странная история, во всяком случае, она показала бы вам, что иной раз мужество – это слабость наизусть. Впрочем, я мог бы вполне откровенно рассказать вам ее. О том, каким ты был четверть века назад, можно говорить так, словно это касается кого-то другого. Располагаете ли вы временем, чтобы выслушать меня? И не покажется ли вам это скучным?

Разумеется, я располагал временем; в ту ночь мы еще долго бродили по опустевшим улицам. Встречались мы и в последующие дни.

Передавая его рассказ, я изменил лишь немного: гусаров назвал уланами, предусмотрительно изменил расположение гарнизонов и уж конечно не стал упоминать настоящие имена. Но нигде я не присочинил чего-либо существенного и вот теперь предоставляю слово самому рассказчику.

Все началось с досадной неловкости, с нечаянной оплошности, с gaffe[2 - Бестактного поступка (фр.)], как говорят французы. Правда, я поспешил загладить свой промах, но когда слишком торопишься починить в часах какое-нибудь колесико, то обычно портишь весь механизм. Даже спустя много лет я так и не могу понять, где кончалась моя неловкость и начиналась вина. Вероятно, я этого никогда не узнаю.

Мне было тогда двадцать пять лет. Я служил в чине лейтенанта в Н-ском уланском полку. Не скажу, чтобы я испытывал особое влечение или чувствовал в себе призвание к военной службе. Но если в семье австрийского чиновника за скудным столом сидят две девочки и четверо вечно голодных мальчуганов, то их не очень расспрашивают о наклонностях, а поскорее пристраивают к делу, чтобы они не слишком засиживались в родительском гнезде. Моего брата Ульриха, который еще в школе испортил себе глаза зубрежкой, отдали в семинарию; меня же, поскольку я отличался крепким сложением, послали в военное училище: там клубок жизни разматывается сам собой, его уже не надо тянуть за нитку. Все заботы берет на себя государство. За несколько лет оно бесплатно, по установленному казенному образцу, выкраивает из худощавого, бледного подростка безусого прапорщика и в годном к употреблению виде сдает его армии. Мне еще не исполнилось и восемнадцати, когда – по традиции в день рождения императора – состоялся наш выпуск, и на моем воротнике вскоре засверкала звездочка. Первый этап был пройден; отныне мне предстояло с надлежащими интервалами автоматически продвигаться вверх по служебной лестнице вплоть до пенсии и подагры. В кавалерию, где служба, увы, далеко не всякому по средствам, я попал не по собственному желанию, а по прихоти тетки Дэзи, второй жены старшего брата отца; она обручилась с моим дядей, когда тот перешел из министерства финансов на более выгодную должность председателя правления банка. Эта богачка с аристократическими замашками не допускала и мысли, что кто-либо из ее родственников способен «опозорить» фамилию Гофмиллеров службой в пехоте; а так как за свой каприз она ежемесячно выплачивала мне сотню крон, то при каждом удобном случае я еще должен был покорнейше благодарить ее. Нравилась ли мне служба в кавалерии и вообще в армии – над этим никто никогда не задумывался, и меньше всего я сам. Стоило мне вскочить в седло, как я забывал обо всем на свете и дальше ушей своего коня ничего не видел.

В ноябре 1913 года из одной канцелярии в другую, вероятно, спустили какой-то приказ, и наш эскадрон нежданно-негаданно перевели из Ярославце в небольшой гарнизонный городок у венгерской границы. Как он назывался – не так уж важно, ибо все провинциальные гарнизонные городки в Австрии

отличаются друг от друга не больше, чем пуговицы на мундире. Повсюду одна и та же казенная декорация: казарма, манеж, учебный плац, офицерское казино и как дополнение – три гостиницы, два кафе, кондитерская, винный погребок и паршивенькое варьете с потасканными певичками, которые между делом охотно достаивают своей благосклонности офицеров и вольноопределяющихся. Строевая служба повсюду одинаково пуста и однообразна, час за часом расписаны по незыблемому, веками установленному порядку; в свободное время тоже не происходит ничего интересного. В офицерском казино всё те же лица и те же разговоры, в кафе всё те же карты и тот же бильярд. Иной раз даже удивляешься, как это еще Господь Бог удосужился нарисовать разные пейзажи вокруг шестисот или восьмисот домов, насчитывающихся в таких городишках.

Правда, у нового гарнизона было одно преимущество перед прежним, галицийским: он находился близко от Вены и не очень далеко от Будапешта, и тут останавливались курьерские поезда. Те, у кого были деньги, – а в кавалерии, как правило, служили люди со средствами, не говоря уже о вольноопределяющихся из высшей знати и сынках крупных фабрикантов, – могли, отбарабанив положенное, уехать с пятичасовым в Вену и к половине третьего ночи вернуться назад. Так что вполне можно было сходить в театр, пошататься по Рингу и завести любовную интрижку; некоторые счастливики даже снимали там постоянные или временные квартиры. К сожалению, подобные освежающие прогулки были мне при моем бюджете недоступны. Я довольствовался кафе и кондитерской, где играл в бильярд (карточные ставки выходили за пределы моих возможностей) или в шахматы, что уж совсем ничего не стоило.

Так вот однажды – это было, кажется, в середине мая 1914 года – я сидел после обеда в кондитерской за шахматами. Моим партнером и на сей раз оказался местный аптекарь, он же помощник бургомистра. Мы давно окончили наши обычные три партии и сидели просто так, от нечего делать болтая о том о сем, – куда еще денешься в этой дыре? Разговор уже гаснул, словно догорающая сигарета, как вдруг неожиданно распахнулась дверь и волна свежего воздуха внесла хорошенькую девушку в широкой развевающейся юбке; карие миндалевидные глаза, смуглое личико, превосходно одета, ничего провинциального и главное – совершенно новое лицо среди осточертевшего однообразия. Но – увы! – элегантная нимфа не обращает никакого внимания на наши почтительно-восторженные взгляды: гордо и стремительно, упругим спортивным шагом она проходит мимо девяти мраморных столиков прямо к стойке и заказывает en gros[3 - Оптом (фр.).] торты, пирожные и напитки. Мне сразу же бросается в глаза, как devotissime[4 - Почтительнейше (ит.).]

склоняется перед ней хозяин кондитерской, – я еще никогда не видел, чтобы у него на спине так туго натягивался шов фрака. Даже его жена, грубая, растолстевшая провинциальная Венера, которая обычно со снисходительной небрежностью принимает ухаживания нашего брата (у каждого бывают к концу месяца кое-какие долги), встает из-за кассы и рассыпается в любезностях. Пока господин Гроссмейер записывает заказ, прелестная клиентка беззаботно грызет миндаль в сахаре и переговаривается с фрау Гроссмейер; нас она не замечает, хотя мы до неприличия усердно вытягиваем шеи в ее сторону. Разумеется, юная госпожа не утруждает свои нежные ручки покупками: фрау Гроссмейер предупредительно заверяет ее, что все будет доставлено домой. Ей даже не приходит в голову расплатиться наличными, как это делаем мы, простые смертные. Сразу видно: благородная клиентура, экстра-класс!

Но вот, покончив с заказом, она направляется к выходу. Господин Гроссмейер кидается отворить дверь, мой аптекарь тоже вскакивает с места и почтительно кланяется. Она благодарит царственной улыбкой. Черт возьми, какие у нее глаза! Карие, бархатные, как у лани. Едва дождавшись, пока она, осыпанная, будто сахаром, любезностями, вышла на улицу, я набросился на моего партнера с расспросами. Откуда взялся в нашем курятнике этот лебедь?

«Как, разве вы ее никогда не видели? Это же племянница господина фон Кекешфальвы. – (В действительности его звали иначе.) – Ну, вы же их знаете».

Фон Кекешфальва! Он произносит это имя, будто швыряет ассигнацию в тысячу крон, и смотрит на меня, словно ожидая, что я незамедлительно отзовусь почтительным эхом: «Кекешфальва? Ах да! Конечно!» Но я, свежее испеченный лейтенант, всего лишь несколько месяцев в новом гарнизоне, я, в простоте душевной, и понятия не имею об этом таинственном божестве, а потому вежливо прошу дать мне разъяснения, что господин аптекарь и делает со всей словоохотливостью и тщеславием провинциала, разумеется, более пространно, чем это передаю я.

Кекешфальва, сообщает он мне, самый богатый человек в округе. Здесь чуть ли не все принадлежит ему. Не только усадьба Кекешфальва – «Да вы знаете этот дом, его видно с учебного плаца, такое желтое здание с башней в большом старинном парке, ну, слева от шоссе», – но и сахарная фабрика, что по дороге в Р., лесопилка в Бруке и конный завод. Все это его собственность и, кроме того, шесть или семь домов в Будапеште и Вене. «Да, трудно поверить, что в нашем

городке есть такие богачи. А как он умеет жить! Настоящий аристократ! Зимой проводит в венском особняке на Жакингассе, лето – на курортах; сюда наезжает только весной, на два-три месяца. Но, боже мой, как он живет! Квартеты из Вены, французские вина, шампанское, все наипервейших сортов, лучшее из лучшего». Если угодно, продолжает аптекарь, он с удовольствием представит меня господину фон Кекешфальве, ведь они – самодовольный жест – в приятельских отношениях; в прошлом он часто бывал в усадьбе по делам и знает, что хозяин всегда рад видеть у себя в доме офицеров. Одно его слово – и я приглашен.

А почему бы и не пойти? Гарнизонная жизнь, как трясина, засасывает человека. На Корсо уже знаешь в лицо всех женщин, знаешь, какая у каждой из них зимняя и летняя шляпка и какое воскресное и будничное платье, – они всегда одни и те же; знаешь их собачек, и служанок, и детей. Уже по горло сыт кулинарными чудесами, которыми потчует нас в казино толстая повариха-чешка, а в ресторане гостиницы тебя начинает мутить при одном взгляде на вечно неизменное меню. Помнишь наизусть каждую афишу, каждую вывеску в любом переулке, знаешь, в каком доме какая лавка и что выставлено на ее витрине. Знаешь не хуже самого обер-кельнера, что господин окружной судья, придя в кафе, непременно усядется слева у окна и ровно в четыре тридцать закажет кофе со сливками, между тем как господин нотариус появится десятью минутами позже, в четыре сорок, и по причине несварения желудка выпьет стакан чая с лимоном – все же какое-то разнообразие! – после чего, покуривая свою неизменную виргинскую сигару, будет рассказывать все те же старые анекдоты! Господи, знаешь все лица, все мундиры, всех лошадей, всех извозчиков, всех нищих в округе, знаешь самого себя до отвращения. Почему бы хоть раз не вырваться из чертова колеса? К тому же эта очаровательная девушка, эти карие, как у лани, глаза! Итак, я заявляю моему доброжелателю с притворным безразличием (нельзя же показать этому хвастливому пилюльщику, как тебя обрадовало его предложение!), что, конечно, мне доставит удовольствие побывать в доме у господина фон Кекешфальвы.

И представьте себе, доблестный аптекарь сдержал слово! Через два дня он приходит в кафе и, пыжась от гордости, покровительственным жестом протягивает мне отпечатанный пригласительный билет, в котором каллиграфическими буквами вписана моя фамилия; в билете говорится, что г-н Лайош фон Кекешфальва приглашает г-на лейтенанта Антона Гофмиллера на обед в среду на следующей неделе к восьми часам вечера. Что ж, наш брат, слава богу, тоже не лыком шит и знает, как следует вести себя в таких случаях. С утра, нещадно выбрившись, надеваю свой лучший мундир, белые перчатки,

лакированные ботинки и, надушив усы, отправляюсь с визитом вежливости. Слуга – старый, вышколенный, хорошая ливрея – берет мою карточку и, извиняясь, бормочет: «Господа будут очень сожалеть, что господин лейтенант не застал их, но они сейчас в церкви». – «Тем лучше, – думаю я, – визиты вежливости – занятие не из приятных, как на службе, так и вне ее». Во всяком случае, я свой долг исполнил. В среду вечером пойду туда и, надеюсь, не пожалею об этом. Итак, до среды все улажено. Однако через два дня, то есть во вторник, меня ожидает приятный сюрприз: у себя в конуре я нахожу визитную карточку с загнутым уголком, оставленную господином фон Кекешфальвой. «Превосходно, – думаю я, – у этих людей безупречные манеры». Уже через день после моего первого визита нанести ответный мне, младшему офицеришке. Большой чести не удостоился бы и генерал. Охваченный добрым предчувствием, я с радостью ожидаю завтрашнего вечера.

Но судьба, видно, с самого начала решила сыграть со мной злую шутку. Право же, мне следовало бы обращать больше внимания на всякие приметы. В среду, в половине восьмого вечера, я стою уже совсем готовый – парадный мундир, новые перчатки, лакированные ботинки, складки отутюженных брюк острые как бритва, – и денщик, одернув на мне шинель, еще раз оглядывает, все ли в порядке (это тоже входит в его обязанности, потому что в моей полутемной комнате имеется только маленькое ручное зеркало), как вдруг раздается стук в дверь: посыльный. Дежурный офицер, мой приятель, ротмистр граф Штейнхюбель, просит меня срочно прийти к нему в казарму. Двое улан, видимо вдребезги пьяных, передрались и один ударил другого прикладом по голове. И вот этот дурень лежит без сознания, в крови, с разинутым ртом. Никто не знает, цел ли у него череп или нет. Полковой врач отчалил по увольнительной в Вену, командира полка нигде не могут найти; в растерянности добрейший Штейнхюбель – чтоб ему провалиться! – посылает за мной, именно за мной, и просит помочь ему, пока он займется пострадавшим. И теперь я должен составлять протокол и слать во все концы вестовых с наказом разыскать какого-либо штатского врача в кафе или где-нибудь еще. А время уже без четверти восемь, и по всему видно, что раньше чем через четверть, а то и полчаса я отсюда не выберусь. Черт возьми, надо же, чтобы такое безобразие случилось, как нарочно, сегодня! Как раз в тот день, когда я приглашен в гости. Все нетерпеливее я поглядываю на часы: нет, я уже не успею вовремя, даже если провожусь здесь не больше пяти минут. Но служба – нам это крепко вбили в голову – превыше всяких личных обязательств. Поскольку удрать нельзя, я делаю единственно возможное в моем дурацком положении: наняв фиакр (удовольствие обходится мне в четыре кроны), посылаю своего денщика к Кекешфальве с просьбой извинить меня, если я опоздаю по непредвиденным

служебным обстоятельствам, и так далее и тому подобное. К счастью, вся эта суматоха в казарме продолжается недолго, так как собственной персоной появляется полковник, а за ним врач, которого отыскиали где-то; теперь я могу незаметно исчезнуть.

Но тут снова невезение: на площади Ратуши, как назло, нет ни одного фиакра, и мне приходится ждать, пока по телефону вызывают восьмикопытный экипаж. Так что, когда я наконец вступаю в просторный вестибюль, минутная стрелка настенных часов смотрит вниз – ровно половина девятого вместо назначенных восьми, – и я вижу, что вешалка уже полна. По несколько смущенному лицу слуги я чувствую, что опоздал изрядно. Жаль, очень жаль, и надо же случиться такому при первом визите!

Тем не менее слуга – на этот раз белые перчатки, фрак, сорочка и лицо одинаково выютюжены – успокоительно сообщает, что денщик полчаса назад предупредил о моем опоздании, и проводит меня в необычайно элегантную гостиную с четырьмя окнами, обтянутую розовым шелком и сверкающую хрусталем люстр; никогда в жизни я не видел ничего более аристократического. Однако, к своему стыду, я обнаруживаю, что гостиная совершенно пуста, а из соседней комнаты явственно доносится веселый звон тарелок. «Скверно, совсем скверно, – думаю я, – они уже сели за стол».

Ладно, я беру себя в руки и, как только слуга открывает передо мной раздвижную дверь, делаю шаг вперед, останавливаюсь на пороге столовой, щелкаю каблуками и отвешиваю поклон. Все оборачиваются в мою сторону, десять, двадцать пар незнакомых глаз пристально разглядывают запоздалого гостя, в не очень уверенной позе застывшего в дверях. Какой-то пожилой господин, несомненно хозяин дома, поспешно вскакивает с места, снимает салфетку и устремляется мне навстречу, любезно протягивая руку. Он совсем не такой, каким я себе его представлял, этот господин Кекешфальва, совсем не толстощекий, разрумившийся от доброго вина помещик с мадьярскими усами. Сквозь стекла очков на меня смотрят чуть усталые, словно затуманенные глаза, я вижу сероватые мешки под глазами, слегка сутулые плечи, слышу речь с присвистом, изредка прерываемую тихим покашливанием; этого человека с тонкими чертами узкого лица и острой седой бородкой скорее можно принять за ученого. Необыкновенная учтивость старого господина действует на меня ободряюще. Нет, нет, это он должен извиниться, слышу я, прежде чем успеваю что-либо сказать. Ведь ему отлично известно, что на службе всякое может случиться, а я был настолько любезен, что уведомил его о задержке; лишь

потому, что он был не совсем уверен в моем приходе, они сели за стол без меня. А теперь поскорее к столу. После он представит меня всем присутствующим в отдельности, а пока что (он подводит меня к столу) познакомит со своей дочерью. Тонкая, бледная, хрупкая девушка, еще почти ребенок, прервав разговор с соседкой, окидывает меня робким взглядом. Она похожа на отца. Я лишь мельком вижу серые глаза, узкое нервное лицо и сперва кланяюсь ей, затем отвешиваю общий поклон направо и налево; все явно рады, что им не придется откладывать ножи и вилки ради скучной церемонии знакомства.

Первые две-три минуты я еще чувствую себя очень неловко. Здесь нет никого из моего полка, ни одного из моих приятелей, ни одного знакомого. Я даже не вижу здесь никого из отцов города – сплошь чужие, совершенно чужие лица. Как мне кажется, это большей частью помещики из округи со своими женами и дочерьми, а также чиновники. Все штатские, только штатские, ни одного мундира, кроме моего! Господи, как я, молодой человек, неуверенный и застенчивый, буду разговаривать с этими незнакомыми людьми? К счастью, у меня приятное соседство. Рядом со мной сидит хорошенькая племянница хозяйина, то самое кареглазое задорное создание, которое, видимо, все-таки заметило мой восторженный взгляд тогда, в кондитерской, потому что она приветливо улыбается мне, как старому знакомому. Глаза у нее словно каштаны, и, честное слово, когда она смеется, мне даже чудится, будто они потрескивают, как на жаровне. У нее прелестные прозрачные ушки, прикрытые прядями густых волос. «Совсем как розовые цикламены во мху», – думаю я. Ее обнаженные руки, если до них дотронуться, наверно, мягкие и гладкие, как очищенный персик.

Приятно сидеть рядом с такой хорошенькой девушкой; только лишь за ее певучий венгерский говор я уже готов в нее влюбиться. Приятно обедать в сверкающем огнями зале, когда перед тобой превосходно сервированный стол, уставленный тончайшими яствами, а за спиной услужливый лакей в ливрее. Да и моя соседка слева, говорящая с легким польским акцентом, выглядит, при всей своей массивности, вполне appetissant[5 - Аппетитно (фр.)]. Или мне все это только кажется от вина, сперва светло-золотистого, потом темно-красного и, наконец, искристого шампанского, которое лакеи в белых перчатках щедро наливают из серебряных графинов и пузатых бутылок? Молодчина аптекарь, не соврал: у Кекешфальвы и впрямь угощают по-княжески. Никогда в жизни я не едал таких роскошных блюд, даже не думал, что существует такое обилие вкусных вещей. Всё новые и новые деликатесы, один другого отменнее и изысканней, несут нескончаемой вереницей: вот в золотом соусе плавают бледно-синие рыбы, увенчанные листьями салата и окруженные ломтиками омаров, вот сидят на горках рассыпчатого риса каплуны, полыхает голубым

пламенем пудинг в роме, пестрят на подносе сладкие шарики мороженого, в серебряных корзинах нежно жмутся друг к дружке фрукты, наверняка проехавшие полсвета, прежде чем попасть сюда. И так без конца, без конца, а напоследок целая радуга ликеров – зеленых, красных, белых, желтых, превосходный кофе и ароматные, в палец толщиной сигары.

Великолепный, сказочный дом! Будь трижды благословен добрый аптекарь! Светлый, радостный, звонкий вечер! Не знаю, оттого ли я чувствую себя так свободно и приподнято, что у моих соседей справа и слева, у моих визави ярче заблестели глаза и громче зазвучали голоса, что они также отбросили всякую чопорность и оживленно заговорили все сразу, – как бы то ни было, от моей застенчивости не осталось и следа. Я непринужденно болтаю, ухаживаю за обеими соседками одновременно, пью, смеюсь, задорно поглядываю вокруг, и если иной раз мои пальцы не случайно скользят по красивой обнаженной руке Илоны – так зовут эту очаровательную особу, – то она, опьяненная и разнеженная, как и все мы, роскошным пиршеством, и не думает обижаться на меня за легкие, едва ощутимые прикосновения.

Мало-помалу я чувствую – уж не дают ли себя знать эти дивные вина: токай вперемежку с шампанским? – как на меня находит какая-то необычайная легкость, готовая перейти в необузданное веселье. Но чего-то недостает мне для полноты блаженства, для взлета, для упоения, к чему-то я неосознанно стремлюсь, а к чему, становится мне ясным уже в следующую минуту, когда откуда-то из третьей комнаты, позади гостиной – слуга незаметно открыл раздвижные двери, – до моего слуха вдруг доносятся приглушенные звуки музыки. Играет квартет, и это как раз та музыка, которую я ждал в душе: легкий, плавный вальс, две скрипки ведут мелодию, им глухо и сумрачно вторит виолончель, а рояль отрывистым стаккато отбивает такт. Музыка, да, музыка, ее-то мне и не хватало! Слушать музыку, быть может, танцевать, скользить, парить в вальсе, блаженно упиваясь своей легкостью! Вилла Кекешфальва – это поистине волшебный замок: стоит только задумать что-либо, как желание мгновенно исполняется. Не успеваем мы подняться, отодвинуть стулья и пара за парой – я предлагаю Илоне руку, снова ощущая ее прохладную, нежную кожу, – перейти в гостиную, как там старанием невидимых гномов все столы уже убраны и кресла расставлены вдоль стен. Гладкий коричневый паркет блестит, как зеркало, а из соседней комнаты доносится веселый вальс.

Я поворачиваюсь к Илоне. Она понимающе смеется. Ее глаза уже сказали «да». И вот мы кружимся – две, три, пять пар – по скользкому паркету, меж тем

как гости посOLIDнее и постарше наблюдают за нами или беседуют между собой. Я люблю танцевать, я даже хорошо танцую. Мы летим, слившись в объятии, и мне кажется, что я никогда еще так не танцевал. На следующий вальс я приглашаю другую соседку по столу; она тоже отлично танцует, и, склонившись к ней, слегка одурманенный, я вдыхаю аромат ее волос. Ах, она танцует чудесно, здесь все чудесно, и я счастлив, как никогда прежде! Голова идет кругом, мне так и хочется всех обнять, сказать каждому теплое слово благодарности, до того легким, окрыленным, удивительно юным я себя ощущаю. Я кружусь то с одной, то с другой, разговариваю, смеюсь и, утопая в блаженстве, теряю всякое представление о времени.

Но вдруг, случайно бросив взгляд на часы – половина одиннадцатого! – я в ужасе спохватываюсь: какой же я болван! Вот уже битый час танцую, болтаю, шучу и еще не догадался пригласить на вальс хозяйскую дочь. Я танцевал лишь с соседками по столу да еще с двумя-тремя дамами, которые мне приглянулись, и совсем позабыл о дочери хозяина! Какая невоспитанность, какой afront! А теперь живо, ошибка должна быть исправлена!

Однако я с испугом убеждаюсь, что совершенно не помню, как выглядит эта девушка. Всего лишь на миг я приблизился к ней, когда она сидела за столом. Мне запомнилось только что-то нежное и хрупкое, а потом еще быстрый и любопытный взгляд ее серых глаз. Но куда же она запропастилась? Ведь не могла же дочь хозяина дома уйти? С беспокойством я пристально разглядываю всех дам и девушек, сидящих вдоль стен, – ни одной похожей на нее! Наконец я вхожу в третью комнату, где, скрытый китайской ширмой, играет квартет, и облегченно вздыхаю. Она здесь – это, несомненно, она, – нежная, тоненькая, в бледно-голубом платье сидит между двумя пожилыми дамами, в углу, за малахитовым столиком, на котором ваза с цветами. Слегка наклонив голову, девушка как будто совершенно поглощена музыкой, и тут только я впервые, особенно в контрасте с ярким багрянцем роз, замечаю, как прозрачно бледен ее лоб под густыми рыжевато-каштановыми волосами. Но мне сейчас не до праздных наблюдений. «Слава богу, – вздыхаю я облегченно, – наконец-то удалось ее отыскать». Еще не поздно наверстать упущенное.

Я подхожу к столу – музыка гремит совсем рядом – и склоняюсь перед девушкой, приглашая ее на танец. Изумленные, полные недоумения глаза смотрят на меня в упор, слова замирают на губах. Но она даже не шевельнулась, чтобы последовать за мной. Быть может, она меня не поняла? Я кланяюсь еще раз,

шпоры тихонько звякают в такт моим словам: «Разрешите пригласить вас, фрейлейн?»

И тут происходит нечто чудовищное. Девушка, слегка наклонившаяся вперед, внезапно отшатывается, как от удара; ее бледные щеки вспыхивают ярким румянцем, губы, только что полуоткрытые, сжимаются, а глаза, неподвижно устремленные на меня, наполняются таким ужасом, какого мне еще никогда не приходилось видеть. Затем по ее мучительно напряженному телу пробегает судорога. Пытаясь подняться, она обеими руками упирается в стол так, что ваза на нем покачивается и дребезжит; одновременно какой-то предмет, деревянный или металлический, с резким стуком падает с кресла на пол. А девушка все еще держится руками за шатающийся стол, ее легкое, как у ребенка, тело все еще сотрясается, но она не двигается с места, не убегает, а лишь отчаянно цепляется за массивную крышку стола. И снова и снова этот трепет, эта дрожь, пронизывающая ее всю, от судорожно сжатых пальцев до корней волос. Вдруг у нее вырывается отчаянный, полузадушенный крик, и она разражается рыданиями.

Обе пожилые дамы уже хлопчут над ней, осторожно поддерживают и, ласково успокаивая девушку, отрывают от стола ее руки; она падает в кресло. Но рыдания не прекращаются, они становятся еще более бурными и неудержимыми, как хлынувшая из горла кровь. Если бы музыка за ширмой смолкла хоть на мгновение – но она заглушает все, – плач, наверное, услышали бы танцующие.

Я остолбенел от испуга. Что это, что же это такое? Не зная, что предпринять, я смотрю, как обе дамы пытаются успокоить бедняжку, которая, закрыв лицо руками, уронила голову на стол. Однако все новые приступы рыданий волна за волной пробегают по ее худенькому телу до самых плеч, и каждый раз ваза на столе тихонько позвякивает. Я же стою в полнейшем смятении, чувствуя, как у меня леденеют ноги, а воротничок тугой петлей сдавливает горло.

– Простите, – бормочу я еле слышно в пустоту.

Обе женщины заняты плачущей, и ни одна из них не удостоивает меня взглядом, и я, шатаюсь, как пьяный, возвращаюсь в гостиную. По-видимому, здесь никто еще ничего не заметил. Пары стремительно проносятся в вальсе, и я невольно хватаюсь за дверной косяк, до того все кружится у меня перед глазами. В чем же дело? Что я натворил? Боже мой, очевидно, за обедом я слишком много

выпил и вот теперь, опьянев, сделал какую-нибудь глупость!

Вальс кончается, пары расходятся. Окружной начальник с поклоном отпускает Илону, и я тотчас же бросаюсь к ней и почти насильно отвожу изумленную девушку в сторону.

– Прошу вас, помогите мне! Ради всего святого, объясните, что случилось!

Вероятно, Илона подумала, что я увлек ее к окну лишь для того, чтобы шепнуть какую-нибудь любезность. Взгляд ее сразу же становится отчужденным; очевидно, мое непонятное возбуждение вызывает в ней жалость или даже страх. Задыхаясь от волнения, я рассказываю ей все. И странно: глаза Илоны, как у той девушки, расширяются от ужаса, и она, разгневанная, нападает на меня:

– Вы с ума сошли!.. Разве вы не знаете?.. Неужели вы ничего не заметили?..

– Нет, – лепечу я, уничтоженный этим новым и столь же загадочным проявлением ужаса. – Что я должен был заметить?.. Я ничего не знаю. Ведь я впервые в этом доме.

– Неужели вы не видели, что Эдит... хромая... Не видели, что у нее искалечены ноги? Она и шагу ступить не может без костылей... А вы... вы гру... – она удерживает гневное слово, готовое сорваться, – вы пригласили бедняжку танцевать!.. О, какой кошмар! Я сейчас же бегу к ней!

– Нет, нет, – я в отчаянии хватаю Илону за руку, – одну минутку, только одну минутку! Пойдите... Ради бога, извинитесь за меня перед ней. Не мог же я предполагать... Ведь я видел ее только за столом, да и то всего лишь секунду. Объясните ей, умоляю вас!..

Однако Илона, гневно сверкнув глазами, высвобождает руку и бежит в комнату. У меня перехватывает дыхание, я стою в дверях гостиной, заполненной непринужденно болтающими, смеющимися людьми, которые вдруг стали для меня невыносимыми. Все кружится, жужжит, гудит, а я думаю: «Еще пять минут, и все узнают, какой я болван». Пять минут – и насмешливые, негодующие взгляды со всех сторон будут ощупывать меня, а завтра, смакуемый тысячь уст, по городу пройдет слух о моей дикой выходке! Уже спозаранку молочницы

разнесут его по всем кухням, а оттуда он расползется по домам, проникнет в кафе и присутственные места. Завтра же об этом узнают в полку.

Как в тумане, я вижу ее отца. Немного расстроенный (знает ли он уже?), Кекешфальва пересекает гостиную. Не направляется ли он ко мне? Нет, все что угодно, но только не встретиться с ним в эту минуту! Меня внезапно охватывает панический страх перед ним и перед всеми остальными. И, не сознавая, что делаю, я, спотыкаясь, бреду к двери, которая ведет в вестибюль, к выходу, вон из этого дьявольского дома.

- Господин лейтенант уже покидают нас? - почтительно осведомляется слуга.

- Да, - отвечаю я и сразу же пугаюсь, едва это слово слетает с моих губ.

Неужели я действительно хочу уйти? И в тот миг, когда слуга подает мне шинель, я отчетливо представляю себе, что своим трусливым бегством совершаю новую и, быть может, еще более непростительную глупость. Однако отступать уже поздно. Не могу же я, в самом деле, снова отдать ему шинель и вернуться в гостиную, когда он с легким поклоном уже открывает передо мной дверь. И вот я, сгорая от стыда, стою возле этого чужого, проклятого дома, подставив лицо ледяному ветру, и судорожно, как утопающий, хватаю ртом воздух.

С той злосчастной ошибки все и началось. Теперь, по прошествии многих лет, хладнокровно вспоминая нелепый случай, который положил начало роковому сцеплению событий, я должен признать, что, в сущности, впутался в эту историю по недоразумению; даже самый умный и бывалый человек мог допустить такую оплошность - пригласить на танец хромую девушку. Однако, поддавшись первому впечатлению, я тогда решил, что я не только круглый дурак, но и бессердечный грубиян, форменный злодей. Я чувствовал себя так, будто плеткой ударил ребенка. В конце концов, со всем этим еще можно было бы справиться, прояви я достаточно самообладания; но дело окончательно испортило то, что я - и это стало ясно сразу же, как только в лицо мне хлестнул первый порыв ледяного ветра, - просто убежал, как преступник, даже не попытавшись оправдаться.

Не могу описать, что творилось у меня на душе, пока я стоял около дома. Музыка за ярко освещенными окнами умолкла, музыканты, по-видимому, сделали перерыв. Но я, мучительно переживая свою вину, уже вообразил сгоряча, что танцы прервались из-за меня и все гости, мужчины и женщины, устремились к обиженной и утешают ее, дружно возмущаясь негодяем, который пригласил на танец хромого ребенка и трусливо сбежал после гнусного поступка. А завтра – я почувствовал, как вспотел лоб под фуражкой, – завтра о моем позоре узнает и будет судачить весь город. Уж обыватели постараются, перемоют мне косточки! Мне рисовалось, как мои товарищи по полку, Ференц Мысливец и, конечно, Йожи, этот заядлый остряк, предвкушая удовольствие, скажут в один голос: «Ну, Тони, и отмочил же ты штуку! Стоило един-единственный раз спустить тебя с привязи – и готово, опозорил весь полк!» Месяцами будет продолжаться зубоскальство в офицерском казино: ведь у нас по десять, по двадцать лет пережевывают за столом каждый промах, когда-либо допущенный кем-нибудь из офицеров, всякая глупость у нас увековечивается, всякой шутке воздвигают памятник. Еще и поныне, шестнадцать лет спустя, в полку рассказывают нелепую историю, случившуюся с ротмистром Волынским. Возвратившись из Вены, он прихвастнул, будто познакомился на Рингштрассе с графиней Т. и первую же ночь провел в ее спальне; а через два дня все узнали из газет о скандальном происшествии с уволенной ею служанкой, которая выдавала себя за графиню в своих похождениях и любовных интрижках. Помимо всего, новоявленный Казанова был вынужден пройти трехнедельный курс лечения у полкового врача. Кто хоть однажды попал в дурацкое положение, остается навсегда посмешищем, ему этого не забудут, здесь уж пощады не жди. И чем сильнее я распался свое воображение, тем больше сумасбродных мыслей лезло мне в голову. В те минуты мне казалось, что в сто раз легче нажать спусковой крючок револьвера, чем целыми днями испытывать адские муки беспомощного ожидания: известно ли уже однополчанам о моем позоре и не раздастся ли за моей спиной насмешливый шепот? Ах, я слишком хорошо знал себя, знал, что у меня никогда не хватит сил устоять, если я сделаюсь мишенью для насмешек и дам повод злословию!

Как я тогда добрался до казармы, мне и самому непонятно. Помнится только, первым делом я распахнул шкаф, где специально для гостей держал бутылку сливовицы, и выпил два-три неполных стакана, стараясь заглушить противное ощущение тошноты. Затем я, как был в одежде, бросился на кровать и попытался хорошенько обо всем поразмыслить. Но, подобно цветам, пышно распускающимся в душной теплице, навязчивые представления буйно разрастаются в темноте. Фантастически запутанные, они раскаленными прутьями обвивают тебя и душат; с быстротою сновидений в разгоряченном

мозгу возникают, сменяя друг друга, чудовищные кошмары. Опозорен на всю жизнь, думал я, изгнан из общества, осмеян товарищами, знакомыми, всем городом. Никогда уже не смогу я покинуть эту комнату, не осмелюсь выйти на улицу из страха повстречать кого-либо из тех, кто знает о моем преступлении (ибо в ту ночь, когда я испытал первую душевную тревогу, моя оплошность представлялась мне преступной, а сам я казался себе гонимым и затравленным всеобщими насмешками). Наконец я забылся неглубоким, поверхностным сном, но лихорадка кошмаров продолжалась и во сне. Едва я раскрываю глаза, как снова вижу разгневанное детское лицо, дрожащие губы, судорожно вцепившиеся в край стола руки, слышу стук падающих деревяшек, только теперь поняв, что то были ее костыли, и мне, охваченному безумным страхом, мерещится, что открывается дверь и ее отец – черный сюртук, белая манишка, золотые очки, жидкая козлиная борода – подходит к моей кровати. В страхе вскакиваю я с постели. И пока я глазею в зеркало на свое вспотевшее от страха лицо, меня обуревает желание дать по морде болвану, который тарашится на меня.

Однако, на мое счастье, уже наступил день; в коридоре громяют тяжелые шаги, внизу на мостовой тарахтят повозки. А когда в окнах светло, мысли проясняются быстрее, чем в зловещем мраке, где рождаются привидения. Быть может, говорю я себе, дело обстоит не так уж безнадежно? Быть может, никто ничего и не заметил? Она-то, конечно, никогда этого не забудет и не простит, бедная хромоножка! И вдруг в моем мозгу молнией вспыхивает спасительная мысль. Я поспешно причесываюсь, надеваю мундир и пробегаю мимо озадаченного денщика, который в отчаянии кричит мне вслед на своем ужасном немецком языке с гуцульским акцентом:

– Пане лейтенант! Пане лейтенант, кофе уже готов!

Я слетаю с лестницы и с такой быстротой проношусь мимо улан, которые толкнутся, еще полуодетые, во дворе казармы, что они едва успевают стать навтыжку. Два-три прыжка – и я за воротами; бегу прямо к цветочной лавке на площади Ратуши. Второпях я, конечно, совершенно забыл, что в половине шестого утра магазины еще закрыты, но, к счастью, фрау Гуртнер, кроме цветов, торгует и овощами. Увидев перед дверью наполовину разгруженную повозку с картофелем, громко стучу в окно и тут же слышу шаги спускающейся по ступенькам хозяйки. Спешно придумываю объяснение: я совсем упустил из виду, что сегодня именины моего друга. Через полчаса мы выступаем, а мне очень хотелось бы послать ему цветы, прямо сейчас. Только самые лучшие,

и побыстрее! Толстая торговка, еще в ночной кофте, шаркая дырявыми шлепанцами, отпирает лавку и показывает мне свое сокровище – огромный букет роз. Сколько я возьму? Все, отвечаю я, все! Завернуть просто так или уложить в корзинку? Да, да, разумеется, в корзинку. На роскошный заказ уходит весь остаток моего жалованья, в конце месяца придется обойтись без ужинов, не заглядывать в кафе или брать займы. Но сейчас мне это безразлично, более того, я даже рад, что моя оплошность так дорого мне обходится, ибо в душе я испытываю злорадное чувство: так тебе, дураку, и надо, расплачивайся за дважды совершенную глупость!

Ну вот, как будто все в порядке. Самые лучшие розы уложены в корзинку, сейчас их отошлют! Однако фрау Гуртнер выбегает на улицу и что-то кричит мне вслед. Куда и кому должна она доставить цветы? Ведь господин лейтенант ничего не сказал. «Трижды болван!» – мысленно ругаю я себя. От волнения я даже забыл указать адрес.

– Вилла Кекешфальва, – распоряжаюсь я, – фрейлейн Эдит фон Кекешфальве.

Мне вовремя вспоминается испуганный возглас Илоны, назвавшей имя моей несчастной жертвы.

– О, конечно, конечно, господа фон Кекешфальвы, – отвечает фрау Гуртнер с гордостью, – наши лучшие клиенты.

Еще один вопрос (я уже собрался уйти); не хочу ли я приписать несколько слов? Приписать? Ах да! Кто отправитель? Иначе она не будет знать, от кого цветы.

Я снова захожу в лавку, достаю визитную карточку и пишу на обороте: «Прошу простить меня». Нет, невозможно! Это было бы четвертой глупостью, к чему напоминать о своей бестактности? Ну а что писать? «С искренним сожалением» – нет, это никуда не годится, еще подумает, что сожаления достойна она. Лучше вообще ничего не писать.

– Вложите в цветы карточку, фрау Гуртнер, просто карточку.

Теперь у меня отлегло от сердца. Я спешу обратно в казарму, глотаю свой кофе и добросовестно провожу утренние занятия, только, пожалуй, более нервозно и рассеянно, чем обычно. Но в армии не очень-то обращают внимание, если

какой-нибудь лейтенант является поутру на службу в дурном расположении духа. Многие из наших офицеров, прогуляв ночь в Вене, возвращаются такие усталые, что клюют носом на ходу и засыпают в седле. Собственно, я даже доволен, что занят привычным делом: произвожу смотр своим уланам, отдаю команды и затем выезжаю на плац. Служба в какой-то мере отвлекает меня от беспокойных мыслей; хотя, признаться, где-то в голове не перестает сверлить неприятное воспоминание, а в горле словно застряла пропитанная желчью губка.

Но вот в полдень, только я направился в казино, как слышу знакомое: «Пане лейтенант, пане лейтенант!» Мой денщик, запыхавшись, догоняет меня и протягивает письмо – продолговатый конверт, на обороте искусно тисненый герб, голубая английская бумага, нежный запах духов; адрес написан тонкими, удлинёнными буквами – женская рука! Нетерпеливо вскрываю конверт и читаю: «От всего сердца благодарю вас, уважаемый господин лейтенант, за чудесные цветы, которые я не заслужила. Они мне доставили и доставляют огромное удовольствие. Приходите к нам, пожалуйста, на чашку чая в любой вечер. Предупреждать не надо. Я – к сожалению! – всегда дома. Эдит ф. К.».

Изящный почерк. Я невольно вспоминаю тонкие детские пальчики, вцепившиеся в крышку стола, и бледное лицо, внезапно вспыхнувшее алым румянцем, словно в бокал плеснули бордо. Еще и еще раз я перечитываю эти несколько строк и с облегчением вздыхаю. Как она тактично умалчивает о моем промахе! И в то же время как умело и деликатно сама намекает на свой недуг. «Я – к сожалению! – всегда дома». Более великодушного прощения и пожелать нельзя. Ни тени обиды. У меня с сердца точно камень свалился. Я почувствовал себя как подсудимый, который уже думал, что его приговорят к пожизненному заключению, а судья встает, надевает шапочку и объявляет: «Оправдан». Разумеется, я на этой же неделе пойду туда, чтобы поблагодарить ее. Сегодня четверг, значит пойду в воскресенье. Или нет, лучше в субботу!

Но я не сдержал своего слова. Я был слишком нетерпелив. Желание как можно скорее избавиться от тягостного чувства неопределенности, узнать, что я окончательно прощен, не давало мне покоя, ибо втайне я все время опасался, что в казино, в кафе или где-либо еще меня спросят: «Послушай, что у тебя там произошло с Кекешфальвами?» Мне хотелось, чтобы я с независимым видом смог отпарировать: «Обаятельные люди! Вчера вечером я опять был у них», и тогда бы каждому стало ясно, что меня вовсе не вытолкали оттуда в шею.

Только бы поставить точку на этой досадной истории! Только бы разделаться с нею! В конце концов мое нервное напряжение привело к тому, что уже на следующий день, то есть в пятницу, как раз когда мы с Йожи и Ференцем, моими лучшими друзьями, шатались по Корсо, я вдруг принял решение: нанести визит сегодня же. Несколько озадачив своих приятелей, я внезапно распрощался с ними.

До виллы Кекешфальвы не особенно далеко, самое большее полчаса, если идти хорошим шагом. Сначала пять скучнейших минут через город, затем по немного пыльной проезжей дороге, которая ведет также к учебному плацу и на которой наши кони уже знают каждый камешек и каждый поворот (можно ехать, совсем опустив поводья). Примерно на полпути, у маленькой часовни за мостом, влево отходит, прилежно следуя плавным изгибам тихого ручейка, неширокая аллея старых, тенистых каштанов, которой редко пользуются пешеходы и экипажи.

Но удивительно: чем ближе я подхожу к усадьбе – уже видна ее белая каменная ограда с решетчатыми воротами, – тем быстрее улетучивается мое мужество. Как иногда, стоя перед дверью зубного врача, раздумываешь, не повернуть ли обратно, пока еще не позвонил, так и сейчас мне захотелось ретироваться. В самом деле, разве нужно идти непременно сегодня? И почему бы не считать, что вся эта неприятная история окончательно улажена той запиской? Я невольно замедляю шаг; в конце концов, для отступления еще есть время, а когда не стремишься идти прямым путем, окольный всегда оказывается соблазнительнее; и вот, перейдя через ручей по шаткой доске, я сворачиваю с аллеи на луг, решив сначала прогуляться вокруг усадьбы.

Дом за высокой каменной оградой представляет собой продолговатое одноэтажное здание в стиле позднего барокко; он окрашен на староавстрийский манер: стены – шенбруннской желтой, а оконные ставни – зеленой. В глубине двора, на границе просторного парка, которого я вчера не заметил, виднеется несколько небольших построек – наверно, помещение для прислуги, контора и конюшни. Только сейчас, заглядывая через овальные отверстия в толстой стене – так называемые «бычьи глаза», – я убеждаюсь, что «дворец» Кекешфальвы вовсе не похож на современную виллу, как я предполагал вначале, судя по его внутреннему устройству; нет, это настоящий помещичий дом, старинная дворянская усадьба вроде тех, что я не раз встречал в Богемии, когда бывал там на маневрах. Странное впечатление производит лишь четырехугольная башня, нелепо торчащая над усадьбой и своей формой немного напоминающая итальянскую *campanile* [б - Колокольню (ит.)]; очевидно,

она осталась от замка, который стоял здесь много лет назад. Мне вспомнилось, что я часто смотрел на эту диковинную вышку с учебного плаца, принимая ее за колокольню какой-нибудь деревенской церкви; только теперь мне бросилось в глаза, что вместо обычного шпиля у странного сооружения плоская крыша – вероятно, солярий или обсерватория. Однако чем больше я убеждался в старинном, феодальном происхождении этой дворянской усадьбы, тем неуютнее я себя чувствовал: именно здесь, где на внешние формы, несомненно, обращают особое внимание, я так неуклюже дебютировал.

Наконец, обойдя вокруг ограды, я снова очутился перед воротами. Собравшись с духом, прохожу посыпанную гравием аллею между шпалерами ровно подстриженных деревьев и поднимаю тяжелый бронзовый молоток, который, по старому обычаю, висит у парадного подъезда. На стук тотчас выходит слуга. Странно, его, кажется, ничуть не удивляет то, что я пришел без предупреждения. Ни о чем не спросив и даже не взглянув на визитную карточку, которую я приготовился ему вручить, он с учтивым поклоном приглашает меня подождать в гостиной – дамы еще у себя в комнате, но придут сию минуту; итак, я буду принят, можно не сомневаться. Как званого гостя, слуга проводит меня дальше; вновь испытывая чувство неловкости, я узнаю красную гостиную, где тогда танцевали, а горький вкус во рту напоминает мне, что рядом должна быть та злополучная комната.

Правда, раздвижная дверь кремового цвета с изящным золотым орнаментом поначалу скрывает от меня место столь свежего в моей памяти происшествия, но уже спустя несколько минут из-за этой двери доносится шум отодвигаемых стульев, чьи-то приглушенные голоса и осторожные шаги, выдающие присутствие нескольких человек. В ожидании я рассматриваю гостиную: роскошная мебель в стиле Louis seize[7 - Людовика Шестнадцатого (фр.)], справа и слева старинные гобелены, а в простенке между стеклянными дверьми, ведущими прямо в парк, старые картины с видами Canale grande[8 - Большого канала (ит.)] и Piazza San Marco[9 - Площади Святого Марка (ит.)], которые, хотя я и не знаток, кажутся мне очень ценными. Признаться, я не очень вникаю в достоинства этих сокровищ, так как продолжаю с напряженным вниманием прислушиваться к звукам в соседней комнате. Вот тихо звякнули тарелки, скрипнула дверь, а теперь, мне кажется, я даже различаю неравномерный стук костылей.

Затем чья-то невидимая рука раздвигает дверь, и ко мне выходит Илона.

– Как это мило, что вы пришли, господин лейтенант! – произносит она и сразу ведет меня в слишком хорошо знакомую комнату. В том же углу, в том же кресле и за тем же малахитовым столиком (зачем же они опять пригласили меня в эту комнату?) сидит больная; ее ноги укутаны пушистым белым меховым одеялом, очевидно, чтобы не напоминать мне о «том». Эдит приветствует меня из своего уголка дружелюбной улыбкой, несомненно обдуманной. И все же эти первые минуты окрашены воспоминанием о роковой встрече; по тому, как Эдит несколько принужденно протягивает мне через стол руку, я сразу вижу, что и она думает о «том». Ни ей, ни мне не удастся произнести первое слово.

К счастью, Илона поспешно нарушает гнетущее молчание:

– Что позволите предложить вам, господин лейтенант, чай или кофе?

– О, как вам угодно, – отвечаю я.

– Нет, что вы больше любите, господин лейтенант? Только, пожалуйста, без церемоний, прошу вас.

– Тогда кофе, если можно, – решаюсь я, с радостью отмечая про себя, что голос мой звучит почти твердо.

Своим деловым вопросом эта смуглая девушка чертовски ловко помогла преодолеть натянутость. Но как безжалостно с ее стороны тут же выйти из комнаты, чтобы отдать распоряжение слуге, – ведь я остаюсь с глазу на глаз со своей жертвой, да, неприятное положение. Надо что-то сказать, ? tout prix[10 - Во что бы то ни стало (фр.)] завязать разговор. Но в горле застрял комок, да и взгляд у меня, наверное, несколько смущенный, так как я не осмеливаюсь посмотреть в сторону кресла: не дай бог, она подумает, что я гляжу на одеяло, прикрывающее ее больные ноги. К счастью, она владеет собой лучше меня и начинает разговор нервно-возбужденным тоном, который для меня пока еще внове:

– Но присядьте же, господин лейтенант. Подвиньте к себе кресло, вот это. И почему вы не снимете саблю? Ведь мы же не собираемся воевать... Положите ее... вон туда, на стол или на подоконник, все равно, куда хотите.

Я придвигаю кресло, пожалуй, чересчур старательно. Мне все еще никак не удается придать своему взгляду желательную непринужденность. Но Эдит энергично приходит мне на помощь.

– Я еще не поблагодарила вас за те прелестные цветы... они действительно прелестны, вы только посмотрите, как они хороши в вазе. И потом... потом я должна извиниться перед вами за мою глупую несдержанность... я вела себя просто ужасно... всю ночь не могла заснуть: так мне было стыдно. Ведь вы и не думали меня обидеть... откуда же вам было знать? И кроме того... – она вдруг отрывисто засмеялась, – кроме того, вы угадали мое самое сокровенное желание... ведь я нарочно села так, чтобы видеть танцующих, и, как раз когда вы подошли, мне больше всего на свете хотелось потанцевать... я просто без ума от танцев. Я могу часами смотреть, как другие танцуют, – смотреть так, что начинаю чувствовать каждое их движение... правда, правда... И тогда мне начинает казаться, что это танцую я сама, что это я легко и свободно кружусь в вальсе... Ведь прежде, ребенком, я хорошо танцевала и очень любила танцевать... и теперь мне часто снятся танцы. Да, как это ни глупо, но я танцую во сне, и... может быть, для папы и лучше, что у меня от... что со мной так случилось, иначе я бы наверняка убежала из дому и стала балериной... Это моя самая большая страсть. Я всегда думала: как это, должно быть, чудесно – своими движениями, всем своим существом каждый вечер привлекать, волновать, покорять сотни людей... это, должно быть, великолепно!.. Кстати, чтоб вы знали, какая я сумасбродка, – ведь я собираю фотографии великих балерин. У меня есть карточки их всех – Сагарэ, Павловой, Карсавиной, во всех ролях и позах. Подождите, я вам сейчас покажу их... они лежат в шкатулке... вон там у камина... в китайской шкатулке... – От нетерпения ее голос внезапно стал резким. – Да нет, не та, слева около книг... ну какой же вы неповоротливый!.. Да, вот эта! – (Я наконец отыскал шкатулку и принес ее.) – Та, что сверху, – самая моя любимая карточка: Павлова – умирающий лебедь... Ах, если б я только могла поехать, увидеть ее хоть разок, это был бы счастливейший день в моей жизни!

Задняя дверь, через которую вышла Илона, медленно открывается. Поспешно, словно застигнутая на месте преступления, Эдит захлопывает шкатулку, слышится резкий, сухой щелчок. Ее слова звучат как приказ:

– При них ни слова о том, что я вам говорила! Ни слова!

Человек, осторожно приоткрывший дверь, оказывается старым слугой с аккуратными седыми бакенбардами а-ля Франц-Иосиф; вслед за ним Илона вкатывает богато сервированный чайный столик. Налив кофе, она подсаживается к нам, и я сразу же начинаю чувствовать себя увереннее. Желанный повод для разговора дает большущая ангорская кошка, которая неслышно проскользнула сюда вместе со столиком и теперь доверчиво трется о мои ноги. Я восхищаюсь кошкой, потом начинаются расспросы: сколько времени я уже здесь и как мне живется в гарнизоне, не знаю ли я лейтенанта такого-то, часто ли бываю в Вене, – невольно завязывается обычная легкая беседа, в ходе которой незаметно тает первоначальная скованность. Постепенно я даже отваживаюсь искоса поглядывать на девушек, они совершенно не похожи друг на друга: Илона – уже настоящая женщина, сформировавшаяся, цветущая, полная чувственной теплоты и здоровья; рядом с нею Эдит выглядит девочкой, в свои семнадцать-восемнадцать лет она кажется все еще незрелой. Удивительный контраст: с одной хотелось бы танцевать, целоваться, другую – побаловать, как больного ребенка, приласкать, защитить и прежде всего утешить. Ибо от всего ее существа исходит какое-то странное беспокойство. Ни на одно мгновение ее лицо не остается спокойным: она смотрит то вправо, то влево, то вдруг вся напрягается, то, словно в изнеможении, откидывается назад; так же нервозно она и разговаривает – всегда отрывисто, стаккато, без пауз. Быть может, думаю я, эта несдержанность и беспокойство как бы компенсируют вынужденную неподвижность ног или же ее жестам и речи придает порывистость постоянная легкая лихорадка. Но у меня мало времени для наблюдений. Своими быстрыми вопросами и живой, стремительной манерой разговора она полностью приковывает к себе внимание; неожиданно для себя я оказываюсь втянутым в интересную, увлекательную беседу.

Так проходит час, а быть может, и полтора. Вдруг из гостиной бесшумно появляется чья-то фигура; кто-то входит так осторожно, словно боится нам помешать. Это Кекешфальва.

– Сидите, сидите, пожалуйста, – останавливает он меня, видя, что я собираюсь встать, и, наклонившись, касается губами лба дочери. На нем все тот же черный сюртук с белой манишкой и старомодный галстук (я ни разу не видел его одетым иначе); пристальный взгляд за стеклами очков делает его похожим на врача. И действительно, он осторожно подсаживается к Эдит, будто врач к постели больного. Странно, с того момента, как он вошел, на нас словно повеяло грустью. Пытливые и нежные взгляды, которые он время от времени робко бросает на дочь, гасят и приглушают ритм нашей непринужденной болтовни. Вскоре Кекешфальва сам замечает наше смущение и делает попытку оживить

разговор. Он тоже расспрашивает меня о службе, о ротмистре, о нашем прежнем полковнике, который перешел в военное министерство. Он обнаруживает поразительную осведомленность во всех перемещениях в нашем полку за многие годы, и не знаю почему, но мне кажется, что он с каким-то определенным намерением подчеркивает свое близкое знакомство со старшими офицерами.

Еще десять минут, думаю, и я скромно откланяюсь. Но тут снова кто-то тихо стучится в дверь; бесшумно, словно босиком, входит слуга и что-то шепчет Эдит на ухо. Она тотчас вспыхивает.

– Пусть подождет. Или нет: передайте ему, чтобы сегодня он оставил меня в покое. Пусть убирается, он мне не нужен.

Мы все смущены ее горячностью. Я поднимаюсь, досадуя, что засиделся. Но она прикрикивает на меня так же бесцеремонно, как и на слугу:

– Нет, останьтесь! Все это ерунда.

Собственно, ее повелительный тон свидетельствует о невоспитанности. Отец, видимо, тоже испытывает мучительную неловкость, он беспомощно и озабоченно увещевает ее:

– Но Эдит...

И вот – то ли по испугу отца, то ли по моей растерянности – она вдруг сама чувствует, что не совладала с собой, и неожиданно обращается ко мне:

– Извините меня, но Йозеф действительно мог бы подождать и не врываться сюда. Ничего особенного, просто ежедневная пытка – массажист, который занимается со мной гимнастикой. Чистейшая ерунда – раз-два, раз-два, вверх, вниз, вниз, вверх – и в один прекрасный день я здорова. Новейшее открытие нашего дорогого доктора, а на самом деле ничего, кроме лишних мучений. Бесполезно, как и все остальное.

Она вызывающе смотрит на отца, точно обвиняя его. Старик смущенно (ему стыдно передо мной) наклоняется к ней.

- Но, дитя мое... ты действительно думаешь, что доктор Кондор...

Он тут же умолкает, потому что губы Эдит начинают дрожать, тонкие ноздри раздуваются. Точь-в-точь как тогда, вспоминается мне, и я уже опасаясь нового приступа, но она, неожиданно покраснев, смиряется и произносит ворчливым тоном:

- Ну ладно, так и быть, пойду. Хотя все это ни к чему, совершенно ни к чему. Извините, господин лейтенант, надеюсь, что скоро увижу вас снова.

Я кланяюсь и собираюсь уходить. Но она уже опять передумала.

- Нет, побудьте с папой, пока я промарширую в другую комнату.

Слово «промарширую» она произносит резко и отрывисто, как угрозу. Потом она берет со стола маленький бронзовый колокольчик и звонит; лишь позднее я заметил, что в этом доме на всех столах были под рукой такие же колокольчики, чтобы она в любой момент могла кого-нибудь позвать. Колокольчик звенит резко и пронзительно. Тотчас же появляется слуга, который незаметно удалился во время ее вспышки.

- Помоги мне! - приказывает она и отбрасывает меховое одеяло. Илона склоняется к ней и что-то шепчет, но Эдит раздраженно обрывает подругу: - Нет, Йозеф только поможет мне приподняться. Я пойду сама.

То, что затем происходит, ужасно. Слуга наклоняется и, явно заученным движением взяв под мышки легкое тело, поднимает его. Встав на ноги и держась за спинку кресла, она вызывающе глядит на каждого из нас по очереди, потом хватает костыли, которые были спрятаны под одеялом, опирается на них и, закусив губы, выбрасывает тело вперед. Тук-тук, ток-ток - качаясь, волоча ноги, скрючившись, словно карга, она тащится через комнату, а слуга, широко расставив руки, следует по пятам, готовый в любую секунду подхватить ее, если она поскользнется или ослабеет. Тук-тук, ток-ток, еще шаг, еще один, и каждый раз что-то негромко звякает и скрипит, как металл и натянутая кожа: наверно, она - я не осмеливаюсь смотреть на ее бедные ноги - носит какие-нибудь специальные приспособления. Слово тисками сдавливает мне грудь, пока я наблюдаю этот «форсированный марш», - я сразу понял, что она нарочно не позволила отвезти себя в кресле или помочь ей:

она пожелала продемонстрировать всем нам, в том числе и мне, особенно мне, что она калека. Из какой-то непостижимой жажды мести, порожденной отчаянием, ей хочется, чтобы мы терзались ее мукой; она стремится причинить нам боль, обвинить в своем несчастье нас, здоровых, а не Бога. Но чем грубее этот вызов, тем острее я чувствую – в тысячу раз острее, чем тогда, когда я поверг ее в смятение, пригласив танцевать, – как безгранично страдает она от своей беспомощности. Наконец – прошла целая вечность, – с невероятным трудом перебрасывая всю тяжесть своего слабого, измученного, худенького тела с одного костыля на другой, Эдит проковыляла несколько шагов до двери. У меня недостает мужества хоть один-единственный раз прямо взглянуть на нее. Ибо безжалостный, сухой стук костылей, сопровождающий каждый ее шаг, скрип и скрежет механизмов, тяжелое прерывистое дыхание потрясают меня до такой степени, что сердце готово выскочить из груди. За ней уже закрылась дверь, а я, едва дыша, все еще напряженно прислушиваюсь, как постепенно удаляются, пока наконец не затихают совсем, эти страшные звуки.

И только когда наступает полная тишина, я осмеливаюсь поднять глаза. Старик (я заметил это не сразу) отошел к окну и стоит, внимательно всматриваясь в даль, пожалуй слишком внимательно. Против света виден лишь его силуэт, но я все же различаю, как вздрагивают поникшие плечи. И он, отец, который каждый день видит мучения своей дочери, раздавлен этим зрелищем, как и я.

Воздух в комнате, казалось, застыл. Через несколько минут темная фигура наконец поворачивается и, неуверенно ступая, словно по скользкому льду, тихо подходит ко мне.

– Пожалуйста, не обижайтесь на девочку, господин лейтенант, если она и была немного резка... ведь вы не знаете, чего только не пришлось ей вынести за все эти годы... Каждый раз что-нибудь новое, а дело движется медленно, страшно медленно... Она теряет всякое терпение, я понимаю ее. Но что поделаешь? Ведь нужно все испробовать, все.

Старик остановился у чайного столика. Он говорит, не глядя на меня, его глаза, полуприкрытые серыми веками, неподвижно устремлены вниз. Словно в забытьи, берет он из открытой сахарницы кусок сахара, вертит его в пальцах и кладет обратно; в эту минуту он похож на пьяного. Его взгляд все еще никак не может оторваться от столика, будто что-то особенное приковало там его внимание. Он опять машинально берет ложку, затем кладет ее и начинает

говорить, как бы обращаясь к этой ложке.

– Если б вы знали, какой была девочка раньше! Целый день она носилась вверх и вниз по всему дому так, что нам просто становилось не по себе. В одиннадцать лет она галопом скакала на своем пони по лугам, никто не мог догнать ее. Мы, моя покойная жена и я, часто боялись за нее – такой отчаянной она была, такой озорной, подвижной... Нам всегда казалось, стоит только ей раскинуть руки, и она взлетит... и вот именно с ней должно было случиться такое, именно с ней...

Его голова, покрытая редкими седыми волосами, опускается еще ниже. Нервные пальцы по-прежнему беспокойно шарят по столу, задевая разбросанные предметы; вместо ложки они схватили теперь сахарные щипцы и чертят ими какие-то загадочные письмена (я знаю: это стыд, смущение, он просто боится посмотреть мне в глаза).

– И все же как легко даже теперь развеселить ее! Любой пустяк радует ее, как ребенка. Она может смеяться всякой шутке и восхищаться каждой интересной книгой. Если б вы видели, в каком восторге она была, когда принесли ваши цветы, она перестала мучиться мыслью, что обидела вас... Вы даже не подозреваете, как тонко она все чувствует... она воспринимает все гораздо острее, чем мы с вами. Я уверен, что и сейчас никто так сильно не переживает случившегося, как она сама... Но можно ли без конца сдерживаться... откуда ребенку набраться терпения, если все идет так медленно! Как может она оставаться спокойной, если Бог так несправедлив к ней, а ведь она ничего не сделала плохого... никому ничего не сделала плохого...

Он все еще пристально смотрит на воображаемые фигуры, которые его дрожащая рука нарисовала сахарными щипцами. И вдруг, будто испугавшись чего-то, бросает щипцы на стол. Кажется, он словно очнулся и только сейчас осознал, что разговаривает не с самим собой, а с совершенно посторонним человеком. Совсем другим голосом, твердым, но глуховатым, он неловко извиняется передо мной:

– Простите, господин лейтенант... как могло случиться, что я стал утруждать вас своими заботами! Это просто потому... просто что-то нашло на меня... и... я только собирался объяснить вам... Мне не хотелось бы, чтобы вы плохо думали о ней... чтобы вы...

Не знаю, как набрался я смелости прервать его смущенную речь и подойти к нему. Но я вдруг обеими руками взял руку старого, чужого мне человека. Я ничего не сказал. Я только схватил его холодную, исхудалую, невольно дрогнувшую руку и крепко пожал ее. Он удивленно поднял глаза, и за сверкнувшими стеклами очков я увидел его неуверенный взгляд, робко искавший встречи с моим. Я боялся, что он сейчас что-нибудь скажет. Но он молчал; только черные зрачки становились все больше и больше, словно стремились расшириться до бесконечности. Я почувствовал, что мною овладевает какое-то новое, незнакомое волнение, и, чтобы не поддаться ему, торопливо поклонился и вышел.

В вестибюле слуга помог мне надеть шинель. Неожиданно я почувствовал сквозняк. Даже не оборачиваясь, я догадался, что старик, движимый потребностью поблагодарить меня, вышел следом за мной и стоит сейчас в дверях. Но я боялся расчувствоваться. Сделав вид, что не заметил его, я поспешно, с сильно бьющимся сердцем покинул этот несчастный дом.

На следующее утро, когда легкий туман еще висит над домами и все ставни закрыты, оберегая сон горожан, наш эскадрон, как обычно, выезжает на учебный плац. Сначала мелкой рысцой трусим по неровному булыжнику; мои уланы, сонные и угрюмые, покачиваются в седлах. Вскоре улицы остаются позади, вот и шоссе; мы переходим на легкую рысь, а потом сворачиваем направо – в луга. Я подаю своему взводу команду: «Галопом, марш!» – и кони, захрапев, рывком бросаются вперед. Умные животные уже знают это славное, мягкое, широкое поле; их незачем больше понукать, можно отпустить поводья: едва ощутив прикосновение шенкелей, они пускаются во всю прыть. Им тоже введена радость напряжения и разрядки.

Я скачу впереди. Я страстно люблю скачку. Я чувствую, как кровь, порывистыми толчками поднимаясь от бедер, живительным теплом разливается по вялому телу, а холодный ветер обвеивает щеки и лоб. Изумительный утренний воздух! Он еще пахнет ночной росой, дыханием вспаханной земли, ароматом цветущих полей, и в то же время тебя обволакивает теплый пар из трепетно раздувающихся ноздрей коня. Меня всякий раз захватывает этот первый утренний галоп, он так приятно взбадривает одеревеневшее, заспанное тело, что вялость сразу исчезает, точно душный туман под порывом ветра; от ощущения легкости невольно ширится грудь, и открытым ртом я пью свистящий воздух.

«Галопом! Галопом!» И вот уже светлеет взор, обостряются чувства, а за спиной слышится ритмичное позвякивание сабель, шумное и прерывистое дыхание лошадей, мягкое поскрипывание седел и ровная дробь копыт. Словно огромный кентавр, стремительно мчится эта слившаяся в едином порыве группа людей и коней. Вперед, вперед, вперед, галопом, галопом, галопом! Вот так бы скакать и скакать на край света! С тайной гордостью повелителя и творца этого наслаждения я время от времени оборачиваюсь, чтобы взглянуть на своих людей. И внезапно замечаю, что у моих славных улан уже совсем другие лица. Гнетущая гуцульская подавленность, отупелость, сон – все это смыто с их лиц, как копоть. Почувствовав, что на них смотрят, они еще больше выпрямляются и отвечают улыбкой на мой радостный взгляд. Я вижу, что даже эти забытые крестьянские парни охвачены восторгом стремительного движения – вот-вот взлетят! Как и меня, их пьянит животная радость от ощущения молодости, от избытка рвущихся на волю сил.

И вдруг я отдаю команду: «Сто-о-ой! Рыы-сь-ю!» Все разом натягивают поводья, и взвод, затормозив, точно автомобиль, переходит на тяжелый аллюр. Люди косятся на меня чуть озадаченно: ведь обычно – они знают меня и мою неукротимую страсть к скачке – мы галопом промахивали луга до самого плаца. Но в этот раз словно чья-то невидимая рука рванула мои поводья – я неожиданно о чем-то вспомнил. Слева на горизонте мой взгляд, должно быть, случайно уловил белый квадрат усадебной ограды, деревья парка, башню, и, точно пуля, меня пронзила мысль: «А что, если кто-то смотрит на тебя оттуда? Кто-то, кого ты оскорбил своей страстью к танцам, а теперь снова оскорбляешь страстью к верховой езде? Кто-то со скованными параличом ногами, кому, наверное, завидно глядеть, как ты птицей летишь по полям?» Так или иначе, мне вдруг стало стыдно этой скачки, такой безудержной, здоровой и хмельной, стыдно этой откровенной физической радости, словно какой-то незаслуженной привилегии. Разочарованные, медленной тяжелой рысью трусят за мной уланы. Напрасно ждут они – я чувствую это спиной – команды, которая вернет им прежнее воодушевление.

Правда, в ту самую секунду, когда мною овладевает это странное оцепенение, я осознаю, что подобное самобичевание глупо и бесполезно. Я понимаю, что бессмысленно лишать себя удовольствия из-за того, что его лишены другие, отказываться от счастья потому, что кто-то другой несчастлив. Я знаю, что в ту минуту, когда мы смеемся над плоскими шутками, у кого-то вырывается предсмертный хрип, что за тысячами окон прячется нужда и голодают люди, что существуют больницы, каменоломни и угольные шахты, что на фабриках, в конторах, в тюрьмах бесчисленное множество людей час за часом тянет лямку

подневольного труда, и ни одному из обездоленных не станет легче, если кому-то другому взбредет в голову тоже пострадать, бессмысленно и бесцельно. Стоит только – для меня это яснее ясного – на миг охватить воображением все несчастья, случающиеся на земле, как у тебя пропадет сон и смех застрянет в горле. Но не выдуманные, не воображаемые страдания тревожат и сокрушают душу – действительно потрясти ее способно лишь то, что она видит воочию, сочувствующим взором. В разгар скачки близко и осязаемо встало вдруг передо мной, словно видение, бледное, искаженное лицо Эдит, я представил себе, как она ковыляет через комнату на костылях, и мне опять послышался их стук вместе с позвякиванием и скрипом скрытых механизмов. Не думая, не рассуждая, я, поддавшись внезапному испугу, натянул поводья. Напрасно твердил я себе: «Разве стало кому-нибудь легче оттого, что ты с увлекательного, бодрящего галопа перешел на дурацкую тяжелую рысь?» Неожиданный удар пришелся в ту часть сердца, которая лежит по соседству с совестью; я уже не мог свободно и естественно наслаждаться радостным ощущением бодрости и здоровья. Вялой, медленной рысью добираемся мы до lisi?re[11 - Опушки (фр.)], через которую пролегает дорога к учебному плацу; и только когда усадьба скрывается из виду, я встряхиваюсь и говорю себе: «Чушь! Выбрось из головы эти дурацкие сантименты». И команду: «Га-а-лопо-о-ом! Марш!»

С этого неожиданного рывка поводьев все и началось. Он был словно первым симптомом необычного отравления состраданием. Вначале появилось лишь смутное ощущение – так чувствуешь себя, захворав и просыпаясь с тяжелой головой, – что со мною что-то произошло или происходит. До сих пор я жил бездумно в своем ограниченном, тесном мирке. Я заботился лишь о том, что казалось значительным или забавным моим начальникам и моим товарищам, но никогда ни к кому не проявлял горячего интереса, да и мною никто особенно не интересовался. Настоящие душевные потрясения были мне неведомы. Мои домашние дела были упорядочены, и беспечность (я понял это только сейчас) царила в моем сердце и в мыслях. И вот неожиданно что-то случилось, что-то стряслось со мной, правда, с виду ничего существенного, ничего такого, что было бы заметно со стороны. И все же в тот короткий миг, когда в полных гнева глазах обиженной девушки отразилась неведомая мне прежде глубина человеческого страдания, словно какая-то плотина рухнула в моей душе, и наружу хлынул неудержимый поток горячего сочувствия, вызвав скрытую лихорадку, которая для меня самого оставалась необъяснимой, как для всякого больного его болезнь. Вначале я понял лишь, что перешагнул границу замкнутого круга, где моя прежняя жизнь протекала легко и просто, и вступил в иную сферу, которая, как все новое, волновало и тревожило; впервые передо

мною разверзлась бездна чувства. Непостижимо, но мне казалось заманчивым броситься в нее и изведать все до конца. И в то же время инстинкт подсказывал мне, что опасно поддаваться столь дерзкому любопытству. Он внушал: «Довольно! Ты уже извинился. Ты покончил с этой глупой историей». Но другой голос во мне нашептывал: «Сходи туда! Ощути еще раз эту дрожь, пробегающую по спине, этот озноб страха и напряженного ожидания!» И опять предостережение: «Не навязывайся, не вмешивайся! Это испытание тебе не по силам. Простак, ты натворишь еще больше глупостей, чем в первый раз».

Неожиданным образом все решилось помимо меня, так как тремя днями позже я получил письмо от Кекешфальвы, в котором он спрашивал, не смогу ли я отобедать у них в воскресенье. На этот раз будут одни мужчины и, между прочим, подполковник фон Ф. из военного министерства, о котором он мне уже говорил; разумеется, его дочь и Илона будут очень рады меня видеть. Я не стыжусь признаться, что меня, застенчивого молодого человека, это приглашение преисполнило гордости. Значит, меня не забыли, а упоминание о подполковнике фон Ф., по-видимому, означало даже, что Кекешфальва (я сразу понял, чем вызвана его признательность) желает тактично оказать мне протекцию по службе.

И в самом деле, мне не пришлось раскаиваться в том, что я тотчас принял приглашение. Это был на редкость приятный вечер, и мне, молодому офицеру, до которого, говоря по совести, в полку никому не было дела, казалось, что эти пожилые знатные господа проявляют ко мне совершенно непривычную для меня сердечность, – видимо, Кекешфальва особо им меня отрекомендовал. Впервые в моей жизни старший офицер разговаривал со мной без высокомерия, диктуемого субординацией. Он спросил, нравится ли мне в полку и как обстоят дела с моим продвижением по службе, предложил заходить к нему без стеснения, когда я буду в Вене или если мне что-нибудь понадобится. Нотариус, веселый лысый человек с добродушным лицом, сияющим и круглым, как луна, тоже приглашал меня к себе в гости. Директор сахарного завода то и дело обращался ко мне. Как все это было не похоже на разговоры в нашем офицерском казино, где я должен был «покорнейше» соглашаться со всяким суждением начальника! Приятная уверенность в себе пришла ко мне скорее, чем я ожидал, и уже через полчаса я с полной непринужденностью принимал участие в общей беседе.

На стол подали новые блюда, известные мне только понаслышке и по хвастливым рассказам богатых товарищей: великолепную икру со льда (я

пробовал ее впервые), фазанов, паштет из косули, и снова и снова вина, от которых легко и радостно становится на душе. Я понимаю, что глупо восторгаться подобными вещами, но к чему скрывать? Молодой неизбалованный офицеришка, я с детским тщеславием наслаждался тем, что пировал за одним столом с такими видными господами. Черт побери, поглядел бы на меня сейчас Ваврушка и тот заморыш-вольнопределяющийся, который без конца хвастается, как они шикарно пообедали в Вене у Захера! Побывать бы им разок в таком доме – вот бы рты разинули! Черт возьми! Если бы они видели, эти завистники, как я непринужденно веду себя здесь, если б слышали, как подполковник из военного министерства произносит тост за мое здоровье и как я дружески спорю с директором сахарного завода, а он вполне серьезно замечает: «Я просто поражен вашей осведомленностью!»

Кофе мы пьем в будуаре; в больших рюмках появляется охлажденный на льду коньяк, за ним целый калейдоскоп ликеров и, конечно, великолепные толстые сигары с золотыми этикетками. Во время беседы Кекешфальва наклоняется ко мне и доверительно спрашивает, желаю ли я играть в карты или предпочту поболтать с дамами. «Разумеется, последнее», – отвечаю я поспешно; отважиться на роббер с подполковником из военного министерства – затея рискованная. Выиграешь – он, пожалуй, рассердится, а проиграешь – прощай месячное жалованье! К тому же, вспоминаю я, у меня в бумажнике не больше двадцати крон.

И вот, пока в соседней комнате раскладывают ломберный столик, я подсаживаюсь к девушкам, и странно – вино ли это, или хорошее настроение так преображает все кругом? – обе они кажутся мне сегодня удивительно похорошевшими. Эдит выглядит не такой бледной, не такой болезненно желтой, как в прошлый раз, – возможно, она чуть нарумянилась ради гостей или в самом деле ее щеки порозовели от оживления; так или иначе, но сегодня не видно нервно-трепещущих линий вокруг ее рта и произвольного подергивания бровей. Она в длинном розовом платье; ни мех, ни плед не скрывают ее увечья, но все мы в прекрасном расположении духа и не думаем об «этом». А Илона, мне кажется, даже немного захмелела: ее глаза так и искрятся, а когда она смеется, отведя назад красивые полные плечи, я отодвигаюсь, чтобы не поддаться искушению и не коснуться – как бы нечаянно – ее обнаженных рук.

Превосходный обед, чудесный коньяк, приятным теплом разлившийся по жилам, ароматная сигара, дым которой так нежно щекочет ноздри, две хорошенькие оживленные девушки по обе стороны – да тут и последний тупица станет

красноречивым собеседником; а я и вообще-то неплохой рассказчик, если только не нападет на меня проклятая застенчивость. Но сегодня я особенно в ударе и болтаю с истинным вдохновением. Разумеется, все, что я им преподношу, – это не более как глупые случаи, которые бывали у нас в полку, например, вроде того, что произошел на прошлой неделе. Полковник еще до закрытия почты хотел отослать срочное письмо с венским экспрессом и, вызвав одного улана, деревенского парня из коренных гуцулов, строго внушил ему, что письмо должно быть отправлено в Вену немедленно. Этот дурень опрометью бросается в конюшню, седлает своего коня, выезжает на шоссе и пускается галопом прямехонько в Вену! Если бы по телефону не дали знать в соседний гарнизон, чудак и в самом деле скакал бы восемнадцать часов кряду. Итак, я не утруждаю ни себя, ни своих слушательниц глубокомысленными рассуждениями, это лишь ходячие анекдоты, плоды казарменного остроумия многих поколений, но они – я и сам удивляюсь – бесконечно забавляют девушек, обе смеются без умолку. Смех Эдит звучит особенно задорно, и, хотя высокие серебристые ноты иной раз переходят в пронзительный дискант, веселье, несомненно, рвется из самой глубины ее существа, потому что кожа ее щек, тонкая и просвечивающаяся, точно фарфор, приобретает все более живой оттенок, отблеск здоровья и даже красоты озаряет лицо, а ее серые глаза, обычно холодные и чуть колючие, искрятся детской радостью. Приятно смотреть на нее в эти минуты, когда она забывает о своем недуге, – ее движения и жесты становятся свободнее и естественнее; она непринужденно откидывается на спинку кресла, смеется, пьет вино, притягивает к себе Илону и обнимает ее; право же, обе от души забавляются моей болтовней. Успех неизменно окрыляет рассказчика: на память мне приходит целая куча давно забытых историй. Всегда робкий и стеснительный, я проявляю неожиданное присутствие духа, смешу их и смеюсь вместе с ними. словно расшалившиеся дети, веселимся мы трое в своем уголке.

Я шучу без устали и, кажется, позабыл обо всем на свете, кроме нашего веселого трио, но вместе с тем подсознательно я все время чувствую на себе чей-то взгляд. И это теплый, счастливый взгляд, от которого еще более усиливается мое собственное ощущение счастья. Украдкой (я думаю, он стесняется присутствующих) старик время от времени косится поверх карт в нашу сторону и один раз, когда я встречаюсь с ним глазами, одобрительно кивает мне. В этот миг я замечаю, что лицо его светлеет, как у человека, слушающего музыку.

Так продолжается почти до полуночи; наша болтовня не прекращается ни на минуту. Снова подают что-то вкусное, какие-то чудесные сэндвичи, и примечательно, что не один только я набрасываюсь на них с аппетитом.

Девушки тоже уплетают за обе щеки и пьют отличный, крепкий, темный, старый английский портвейн рюмку за рюмкой. Но в конце концов пора прощаться. Как старому другу, хорошему, верному товарищу, пожимают мне руку Эдит и Илона. Разумеется, с меня берут слово, что я приду опять – завтра или в крайнем случае послезавтра. Затем вместе с тремя остальными гостями я выхожу в вестибюль. Автомобиль развезет нас по домам. Пока слуга помогает одеться подполковнику, я сам беру свою шинель и, надевая ее, вдруг замечаю, что кто-то пытается мне помочь, – это господин фон Кекешфальва; я испуганно отшатываюсь: могу ли я, зеленый юнец, допустить, чтобы мне прислуживал пожилой человек! Но он придвигается ко мне и смущенно шепчет:

– Господин лейтенант! Ах, господин лейтенант... вы совсем не знаете... вы даже не представляете себе, какое это для меня счастье – снова слышать, как девочка смеется, по-настоящему смеется. Ведь у нее мало радости в жизни. А сегодня она была почти такой же, как прежде, когда...

В этот момент к нам подходит подполковник.

– Что ж, пошли? – дружески улыбается он мне.

Кекешфальва, конечно, не решается продолжать в его присутствии, но тут я чувствую, как старик робко прикасается к моему рукаву – так ласкают ребенка или женщину. Безграничная нежность и благодарность таятся в самой скрытности и сдержанности этого боязливого движения; в нем столько счастья и столько горя, что я чувствую себя глубоко растроганным, и, когда затем, соблюдая правила субординации, я спускаюсь с подполковником по ступенькам к автомобилю, мне приходится взять себя в руки, чтобы никто не заметил моего смятения.

Сильно взволнованный, я не сразу лег спать в тот вечер; казалось бы, какой незначительный повод – старик ласково погладил мой рукав, и только! – но сдержанного жеста горячей признательности было достаточно, чтобы наполнить и переполнить сокровенные глубины моего сердца. В этом поразившем меня прикосновении я угадал искреннюю нежность, такую страстную и вместе с тем целомудренную, какой никогда не встречал даже в женщине. Впервые в жизни я убедился, что помог кому-то на земле; и моему удивлению не было границ: мне, молодому человеку, скромному, заурядному

офицеру, дана власть осчастливить кого-то!

Быть может, чтобы объяснить себе то упоение, в которое я пришел после этого неожиданного открытия, я должен был вспомнить, что с детских лет меня всегда подавляло сознание собственного ничтожества: я лишний человек, никому не интересный, всем безразличный. В кадетском корпусе, в военном училище я всегда принадлежал к посредственным, ничем не выдающимся ученикам, никогда не был в числе любимчиков или особо привилегированных; не лучше обстояло дело и в полку. Я ни на секунду не сомневался, что, если я вдруг исчезну – допустим, свалюсь с лошади и сломаю себе шею, – товарищи скажут что-нибудь вроде: «Жаль его!» или «Бедняга Гофмиллер!» – но уже через месяц ни один из них и не вспомнит об утрате. На мое место назначат кого-нибудь еще, кто-то другой сядет на моего коня, и этот «другой» будет нести службу не хуже (а может быть, и лучше), чем нес ее я. Точно так же, как с товарищами, получалось и с девушками, которые были у меня в двух прежних гарнизонах, – с ассистенткой зубного врача в Ярославце и маленькой швеей в Винер-Нейштадте. Мы вместе проводили вечера, а когда у Аннерль бывали свободные дни, она приходила ко мне; на день рождения я подарил ей нитку кораллов, мы обменялись обычными в таких случаях нежными словами и, надо думать, говорили их от души. И все же, когда меня перевели в другое место, мы оба быстро утешились; первые три месяца, как полагается, переписывались, а потом у каждого появилось новое увлечение; различие было лишь в том, что в приливе нежности она теперь восклицала не «Тони», а «Фердль». Что прошло, то позабыто. Но еще ни разу в мои двадцать пять лет меня не захватывало сильное, страстное чувство, да и сам я, в сущности, хотел от жизни только одного: исправно нести службу и никоим образом не производить неприятного впечатления на окружающих.

Но вот нежданное случилось, во мне проснулось любопытство, и я с изумлением смотрел на себя. Как? Стало быть, я, обыкновенный молодой человек, тоже располагаю властью над людьми? Я, у которого нет и пятидесяти крон за душой, способен подарить богачу больше счастья, чем все его друзья? Я, лейтенант Гофмиллер, смог кому-то помочь, кого-то утешить! Неужели только оттого, что я один или два вечера посидел и поболтал с больной, расстроенной девушкой, ее глаза заблестели, на лице заиграла жизнь, а унылый дом повеселел благодаря моему присутствию?

В волнении я так быстро шагаю по темным переулкам, что мне делается жарко. Хочется распахнуть шинель – до того тесно сердцу в груди, ибо первое

изумление внезапно сменяется другим, новым, еще более опьяняющим. Меня поразило то, что я так легко, так невероятно легко приобрел расположение едва знакомых людей. В конце концов, что я сделал особенного? Проявил немного сострадания, побыл в доме два вечера – два веселых, радостных, восхитительных вечера, – и этого оказалось достаточно. Но тогда до чего же глупо изо дня в день все свободное время торчать в кафе, до одури играя в карты с надоевшими приятелями, или шататься взад-вперед по Корсо! Нет, надо положить конец этому безделью! Все быстрее и быстрее шагая сквозь летнюю ночь, я с подлинной страстью молодого, внезапно пробудившегося к жизни человека даю себе слово: отныне я изменю свою жизнь! Буду реже ходить в кафе, брошу дурацкий тарок и бильярд, решительно покончу с идиотской привычкой убивать время, от которой только тупеешь. Лучше буду чаще навещать больную и даже всякий раз нарочно готовиться к тому, чтобы рассказать девушкам что-нибудь милое и забавное, мы станем играть в шахматы или как-нибудь еще приятно проводить время; уже одно намерение всегда помогать другим окрыляет меня. От избытка чувств мне хочется запеть, выкинуть какую-нибудь глупость; человек ощущает смысл и цель собственной жизни, лишь когда сознает, что нужен другим.

Вот так, и только так, случилось, что в последующие недели я проводил послеобеденные часы, а то и почти все вечера у Кекешфальвов; вскоре эти дружеские посещения стали привычными и даже повлекли за собой небезопасную избалованность. Но зато какой соблазн для молодого человека, которого с детских лет перебрасывали из одного военного заведения в другое, неожиданно, после мрачных казарм и прокуренных казино, обрести домашний очаг, уют для души! После службы, в половине пятого или в пять, я отправлялся к ним; не успевал я еще поднести руку к дверному молотку, как слуга уже радостно распахивал дверь, будто он давно выглядывал в какое-то волшебное окошечко, ожидая моего появления. Все здесь ощутимо свидетельствовало о том, что меня любят и признают своим человеком в доме. Всякой моей маленькой слабости или прихоти тайно потворствовали: мои любимые сигареты неизменно оказывались под рукой; если накануне я упоминал о новой книге, которую мне хотелось прочитать, то на следующий день она, заботливо разрезанная, лежала, словно случайно, на маленьком табурете; кресло против коляски Эдит непременно считалось моим. Все это, конечно, мелочи, пустяки, но они согревают стены чужого дома благодатным домашним теплом, неприметно радуют и ободряют. И я держался здесь увереннее, чем когда-либо в кругу товарищей, болтал и шутил от души, впервые осознав, что стеснительность в любой ее форме мешает быть самим собой и что

в полной мере человек раскрывается лишь тогда, когда чувствует себя непринужденно.

Но была и еще одна причина, глубокая и тайная, которая способствовала тому, что ежедневное общение с девушками действовало на меня столь окрыляюще. С тех пор как меня еще мальчиком отдали в кадетский корпус, то есть в течение десяти, даже пятнадцати лет, я беспрерывно находился в мужском окружении. С утра до вечера, с вечера до рассвета, в спальне училища, лагерных палатках, казармах, за столом и в пути, на манеже и в классах – всегда и везде я дышал воздухом, насыщенным испарениями мужских тел; сперва это были мальчики, потом взрослые парни, но всегда мужчины, только мужчины. И я привык к их энергичным жестам, твердым, громким шагам, грубым голосам, к табачному духу, к их бесцеремонности, а нередко и пошлости. Разумеется, я был искренне расположен к большинству моих товарищей и, право же, не мог пожаловаться на то, что они не отвечают мне взаимностью. Но этой атмосфере недоставало одухотворенности, в ней словно не хватало озона, не хватало чего-то острого, возбуждающего, электризирующего. И подобно тому как наш великолепный военный оркестр, несмотря на эффектное звучание, оставался всего-навсего духовой музыкой – резкой, отрывистой, построенной единственно на ритме, ибо в ней не слышалось нежно-чувственной мелодии скрипок, – так и самые веселые часы в казарме были лишены того облагораживающего флюида, который уже одним своим присутствием вносит в любое общество женщина. Еще четырнадцатилетними подростками, когда мы, парами прогуливаясь по городу в своих ладно сшитых кадетских мундирах, встречали других мальчишек, беззаботно болтающих или флиртующих с девочками, мы испытывали смутную тоску, догадываясь, что казарма с ее монастырским режимом безжалостно лишила чего-то нашу юность; в то время как наши сверстники ежедневно на улице, в парке, на катке и в танцзале непринужденно общались с девочками, мы, затворники, смотрели на эти существа в коротеньких юбочках, словно на сказочных эльфов, мечтая о разговоре с ними как о чем-то несбыточном. Такие ограничения не проходят бесследно. В последующие годы мимолетные и чаще всего пошлые связи с легкодоступными дамами ни в коей мере не могли возместить того, чего я был лишен в годы трогательных мальчишеских мечтаний. И по тому, как неловко и застенчиво вел я себя всякий раз, когда мне случалось оказаться в обществе молодой девушки (а ведь я уже успел переспать с добрым десятком женщин), я чувствовал, что естественная непринужденность из-за слишком долгих ограничений утрачена мною навсегда.

И вот случилось так, что неосознанное мальчишеское стремление узнать, какова дружба с молодыми женщинами, а не с усатыми, неотесанными товарищами,

неожиданно осуществилось самым наилучшим образом. Каждый день после обеда я сидел таким баловнем среди двух девушек; звонкая женственность их голосов доставляла мне (не могу выразить это иначе) ощущение почти физической радости. С неопишым восторгом наслаждался я впервые в жизни обществом молодых девушек, не испытывая при этом ни малейшего смущения. Тем более что в силу особых обстоятельств был разомкнут тот невидимый электрический контакт, который неизбежно возникает при длительном общении двух молодых людей разного пола. Наша часами длившаяся болтовня была совершенно свободна от сладостного томления, которое делает таким опасным всякий t?te-?-t?te в полумраке. Признаться, сначала меня приятно волновали полные, чувственные губы Илоны, ее пышные плечи и мадьярская страстность, сквозившая в ее мягких, плавных движениях. Не раз я усилием воли удерживал свои руки, подавляя желание одним рывком привлечь к себе это теплое, нежное существо с черными смеющимися глазами и осыпать его поцелуями. Но Илона в первые же дни нашего знакомства рассказала мне, что она уже два года помолвлена с помощником нотариуса из Бечкерета и только ждет выздоровления Эдит или улучшения в ее состоянии, чтобы с ним обвенчаться, – я догадался, что Кекешфальва обещал бедной родственнице приданое, если она согласится повременить с замужеством. Кроме того, мы поступили бы жестоко и коварно, если бы за спиной этой трогательной, прикованной к своему креслу девушки стали украдкой обмениваться поцелуями и рукопожатиями, не испытывая настоящей влюбленности. Вот почему вспыхнувшая было чувственность очень быстро угасла, и вся искренняя привязанность, на какую я был способен, все более сосредоточивалась на Эдит, обездоленной и беззащитной, ибо в таинственной химии чувств сострадание к больному неминуемо и незаметно сочетается с нежностью. Сидеть подле больной, развлекать ее разговором, видеть, как горестно сжатые губы раскрываются в улыбке, или иной раз, когда она, поддавшись раздражению, уже готова вспыхнуть, одним прикосновением руки смирять ее нетерпение, получая в ответ смущенный и благодарный взгляд серых глаз, – в едва заметных проявлениях духовной близости с беспомощной девушкой была особая прелесть, доставлявшая мне такое наслаждение, какого не могло бы дать бурное приключение с ее кузиной. И благодаря этим неуловимым движениям души – сколь многое я постиг за каких-нибудь несколько дней! – мне неожиданно открылись совершенно неведомые прежде и несравненно более тонкие сферы чувства.

Неведомые и более тонкие, но, правда, и более опасные! Ибо тщетны все предосторожности и усилия: никогда отношения между здоровым и больным, между свободным и пленником не могут долго оставаться в полном равновесии.

Несчастье делает человека легкоранимым, а непрерывное страдание мешает ему быть справедливым. Как неодолимо тягостное чувство неприязни, которое испытывает должник к кредитору, ибо одному из них неизменно суждена роль дающего, а другому – только получающего, так и больной таит в себе раздражение, готовое вспыхнуть при малейшем проявлении заботливости. Бесперывно надо быть начеку, дабы не переступить едва ощутимый рубеж уязвимости, за которым участие уже не успокаивает боль, а лишь сильнее растравляет рану. Эдит постоянно требовала (и это вошло у нее в привычку), чтобы все прислуживали ей, точно принцессе, и баловали, как ребенка, но уже в следующий миг такое отношение могло ее оскорбить, ибо оно вызывало у нее еще более обостренное ощущение собственной беспомощности. Если, например, предупредительно придвигали столик, чтобы ей не приходилось тянуться за книгой или чашкой, она в ответ метала гневный взгляд: «Думаете, я сама не могу взять, что мне нужно?» И, подобно тому, как зверь за решеткой иной раз без всякого повода бросается на сторожа, к которому обычно ластится, Эдит иногда доставляло злую радость одним ударом разрушить наше безоблачное настроение, внезапно назвав себя «жалкой калекой». В такие напряженные моменты приходилось крепко брать себя в руки, чтобы удержаться от упрека в злобной раздражительности, который вряд ли был бы справедлив.

Но, к моему изумлению, я всякий раз находил в себе силы для этого. Ибо непостижимым образом первое познание человеческой природы влечет за собой все новые и новые открытия, и кто обрел способность искренне сочувствовать людскому горю, хотя бы и в одном-единственном случае, тот, получив чудодейственный урок, научился понимать всякое несчастье, как бы на первый взгляд странно или безрассудно оно ни проявлялось. Вот почему гневные вспышки Эдит, повторявшиеся от случая к случаю, не вводили меня в заблуждение; напротив, чем несправедливее и мучительнее для окружающих бывали эти приступы, тем сильнее они меня потрясали; и я постепенно понял, почему мой приход радовал ее отца и Илону, почему в этом доме мое присутствие было желанным. Долгое страдание изнуряет не только больного, но и его близких; сильные переживания не могут длиться бесконечно. Разумеется, и отец и кузина всей душой жалели бедняжку, но в их жалости чувствовались усталость и смирение. Ее недуг давно стал для них печальным фактом, больная была для них просто больной, и они покорно переживали, пока не отбушует налетевший шквал. Это уже не страшило их так, как страшило меня, я каждый раз пугался. Я был единственным, в ком ее страдания неизменно вызывали взволнованный отклик, и едва ли не единственным, перед кем она стыдилась своей несдержанности. Стоило мне, когда она теряла самообладание, только произнести что-нибудь вроде: «Но, милая фрейлейн Эдит», и она

сразу же потупляла взор, краска заливала ее лицо, и было видно, что она охотнее всего убежала бы куда глаза глядят, если бы не ее парализованные ноги. И ни разу я не попрощался с ней без того, чтобы она не сказала почти умоляющим тоном, от которого меня бросало в дрожь: «Вы придете завтра? Ведь вы не сердитесь на меня за то, что я сегодня наговорила глупостей?» В такие минуты мне казалось необъяснимым и удивительным, как это я, не давая ничего, кроме искреннего сочувствия, обретал такую власть над людьми.

Но такова уж юность: то, что познается впервые, захватывает ее целиком, до самозабвения, и в своих увлечениях она не знает меры. Что-то странное начало твориться со мной, едва я обнаружил, что мое сочувствие не только радостно волнует меня, но и благотворно действует на окружающих; с тех пор как я впервые ощутил в себе способность к состраданию, мне стало казаться, будто в мою кровь проникло какое-то вещество, сделало ее краснее, горячее и заставило быстрее бежать по жилам. Мне вдруг стало чуждым оцепенение, в котором я прозябал долгие годы, точно в серых, холодных сумерках. Сотни мелочей, на которые я прежде просто не обращал внимания, теперь занимали и увлекали меня; я стал замечать подробности, которые меня трогали и поражали, словно первое соприкосновение с чужим страданием сделало мой взор мудрым и пронизательным. А поскольку наш мир – каждая улица и каждый дом – насквозь пропитан горечью нищеты и полон превратностей судьбы, то все мои дни отныне проходили в непрерывном и напряженном наблюдении. Так, например, объезжая лошадь, я ловил себя теперь на том, что уже не могу, как бывало, изо всей силы хлестнуть ее по крупу, ибо тут же меня охватывало чувство стыда, и рубец словно горел на моей собственной коже. А когда наш вспыльчивый ротмистр бил наотмашь по лицу какого-нибудь беднягу-рядового за то, что тот плохо подтянут, и провинившийся стоял навтыжку, не смея пошевеливаться, у меня гневно сжимались кулаки. Стоявшие кругом солдаты молча глазели или исподтишка посмеивались, и только я, я один видел, как у парня из-под опущенных век выступают слезы обиды. Я не мог больше выносить шуток по адресу неловких или неудачливых товарищей; с тех пор как я, увидев эту беззащитную, беспомощную девушку, понял, что такое муки бессилия, всякая жестокость вызывала во мне гнев, всякая беспомощность требовала от меня участия. С той минуты, как случай заронил мне в душу искру сострадания, я начал замечать простые вещи, прежде ускользавшие от моего взора: сами по себе они мало что значат, но каждая из них трогает и волнует меня. Например, я вдруг замечаю, что хозяйка табачной лавочки, где я всегда покупаю сигареты, считая деньги, подносит их слишком близко к выпуклым стеклам своих очков, и тут же у меня возникает подозрение, что ей грозит катаракта. Завтра, думаю я, осторожно ее расспрошу и, может быть, даже

уговорю нашего полкового врача Гольдбаума осмотреть ее. Или вдруг вижу, что вольноопределяющиеся в последнее время откровенно игнорируют маленького рыжего К.; догадываюсь о причине: в газетах писали (при чем тут он, бедный малый?), что его дядя арестован за растрату; во время обеда я нарочно подсаживаюсь к нему и завязываю разговор, тотчас ощутив по его благодарному взгляду, что он понимает – я делаю это просто для того, чтобы показать остальным, как несправедливо и плохо они поступают. Или выклянчиваю прощение для одного из своих улан, которого неумолимый полковник приказал поставить на четыре часа под ружье.

Каждый день я нахожу множество поводов вновь и вновь испытать эту внезапно открывшуюся мне радость. И я даю себе слово: отныне помогать любому и каждому, сколько хватит сил. Не быть ленивым и равнодушным. Возвышаться над самим собой, обогащать собственную душу, щедро отдавая ее другим, разделять судьбу каждого, постигая и преодолевая страдание могучей силой сострадания. И мое сердце, дивясь самому себе, трепещет от благодарности к больной, которую я невольно обидел и несчастье которой научило меня волшебной науке действенного сочувствия.

Но вскоре я был пробужден от этих романтических грез, и притом самым безжалостным образом. Вот как это случилось. В тот вечер мы играли в домино, потом долго болтали, и никто из нас не заметил, как пролетело время. Наконец в половине двенадцатого я бросаю испуганный взгляд на часы и поспешно прощаюсь. Еще в вестибюле, куда меня провожает отец Эдит, мы слышим с улицы шум, словно гудят сто тысяч шмелей. Дождь льет как из ведра.

– Автомобиль довезет вас, – успокаивает меня Кекешфальва.

– Это совершенно излишне, – возражаю я; мне просто неловко, что шоферу ради меня придется в половине двенадцатого ночи снова одеваться и выводить машину из гаража (столь заботливое отношение к людям появилось у меня лишь в последние недели). Но в конце концов, уж слишком заманчиво в такую собачью погоду спокойно доехать домой в уютной кабине, вместо того чтобы добрых полчаса шлепать в тонких лаковых ботинках по шоссе и промокнуть до костей; и я уступаю. Несмотря на дождь, старик провожает меня до автомобиля и сам укрывает мне колени пледом. Шофер заводит машину, и мы летим сквозь разбушевавшуюся стихию.

Удивительно приятно и удобно ехать в бесшумно скользящем автомобиле. Но вот мы уже сворачиваем к казарме – как невероятно быстро мы домчались! – и я, постучав в стекло, прошу шофера остановиться на площади Ратуши. В элегантном лимузине Кекешфальвы к казарме лучше не подъезжать! Я знаю, никому не придется по вкусу, если простой лейтенант, словно какой-нибудь эрцгерцог, с блеском подкатит в шикарном автомобиле и шофер в ливрее распахнет перед ним дверцу. На такое бахвальство наши начальники смотрят косо, а кроме того, инстинкт уже давно предостерегает меня: как можно меньше смешивать оба моих мира – роскошный мир Кекешфальвов, где я свободный человек, независимый и избалованный, и мир службы, в котором я должен беспрекословно повиноваться, в котором я жалкий бедняк, каждый раз испытывающий огромное облегчение, если в месяце не тридцать один день, а тридцать. Подсознательно одно мое «я» ничего не желает знать о другом; временами я и сам не могу различить, который же из двух настоящий Тони Гофмиллер – тот, в доме Кекешфальвы, или тот, на службе?

Шофер послушно тормозит на площади Ратуши, в двух кварталах от казармы. Я выхожу, поднимаю воротник и собираюсь побыстрее пересечь широкую площадь. Но как раз в эту секунду дождь хлынул с удвоенной силой и ветер мокрым бичом хлестнул меня по лицу. Лучше несколько минут переждать в какой-нибудь подворотне, думаю я, чем бежать два переулка под ливнем; или, наконец, зайти в кафе, оно еще открыто, и посидеть в тепле, пока проклятое небо не опорожнит свои самые большие лейки. До кафе всего шесть домов, и – смотри-ка! – за мокрыми оконными стеклами тускло мерцает свет. Наверное, приятели еще торчат за нашим постоянным столиком – отличный случай заглядить свою вину, ведь мне уже давно бы следовало показаться. Вчера, позавчера, всю эту, да и прошлую неделю я здесь не был, и, по совести говоря, у них есть основания на меня злиться; если уж изменяешь, так хоть соблюдай приличия.

Я открываю дверь. В зале кафе газовые рожки из экономии уже погашены, повсюду валяются развернутые газеты, а маркер Эуген подсчитывает выручку. Но позади, в игровой комнате, я вижу свет и поблескивание форменных пуговиц: ну конечно, они еще здесь, эти заядлые картежники – старший лейтенант Йожи, лейтенант Ференц и полковой врач Гольдбаум. Видимо, они давно окончили партию, но все еще, лениво развалившись, пребывают в хорошо знакомом мне состоянии ресторанной дремоты, когда страшнее всего двинуться с места. Понятно, что мой приход, прервавший унылое безделье, для них все равно что дар божий.

– Привет, Тони! – Ференц, словно по тревоге, поднимает остальных.

– «Моей ли хижине такая честь?» – декламирует полковой врач, который, как у нас острят, страдает хроническим цитатным поносом. Три пары сонных глаз, прищурившись, улыбаются мне.

– Здорово! Здорово!

Их радость мне приятна. И в самом деле, они славные парни, думаю я, ничуть не обиделись на меня за то, что я столько времени пропадал, даже не извинившись и ничего не объяснив.

– Чашку черного, – заказываю я кельнеру, сонно шаркающему ногами, и с неизменным «Ну, что новенького?», которым начинается у нас всякая встреча, придвигаю к себе стул.

Широкое лицо Ференца расплывается еще шире, прищуренные глаза почти исчезают в красных, как яблоки, щеках; медленно, тягуче открывается рот.

– Что ж, самая свежая новость, – довольно ухмыляется он, – что ваше благородие опять соизволили пожаловать в нашу скромную лачугу.

А полковой врач откидывается назад и декламирует с кайнцевской[12 - Кайнц Йозеф (1858–1910) – известный австрийский актер-трагик.] интонацией:

Магадев, земли владыка,

К нам в шестой нисходит раз,

Чтоб от мала до велика

Самому изведать нас[13 - Гёте И. В. Баллада «Бог и баядера». Перевод А. К. Толстого.].

Все трое смотрят на меня с усмешкой, и мне сразу становится не по себе. Лучше всего, думаю я, поскорее начать самому, не дожидаясь, пока они примутся расспрашивать, почему я не показывался все эти дни и откуда явился сейчас. Но не успеваю я открыть рот, как Ференц многозначительно подмигивает Йожи и толкает его локтем.

– Полюбуйся-ка! – показывает он под стол. – Ну, что скажешь? Лаковые штиблеты в такую собачью погоду и новенький мундир! Да, Тони свое дело знает, подыскал тепленькое местечко. Наверное, чертовски здорово там, у старого манихея, а? Каждый вечер пять блюд, рассказывал аптекарь, икра, каплуны, настоящий Bols[14 - Сорт виски.] и отборные сигары – это тебе не наша жратва в «Рыжем льве»! Ай да Тони! Ему палец в рот не клади, а мы-то думали – простак!

Йожи тотчас подхватывает:

– Только вот товарищ он никудышный. Да, брат Тони, ну что тебе стоило намекнуть своему старикашке: «Вот, мол, старина, есть у меня два закадычных приятеля, парни что надо, тоже не с ножа едят, я их как-нибудь к вам приволоку!» – а ты вместо этого думаешь: «Пусть их лакают свою пильзенскую кислятину да проперчивают себе глотки осточертевшим гуляшом». Вот уж товарищ так товарищ, ничего не скажешь! Себе все, а другим – шиш! Ну а толстого «упмана»[15 - Сорт сигар.] ты мне притащить догадался? Если да – то на сегодня я тебя прощаю.

Все трое смеются и причмокивают губами. Я внезапно краснею до корней волос. Черт возьми, откуда этот проклятый Йожи мог узнать, что Кекешфальва, провожая меня, действительно сунул мне в карман мундира одну из своих превосходных сигар (он делает это всякий раз)? Неужели она торчит оттуда? Хоть бы они не заметили! В смущении я делано смеюсь:

– Еще чего – «упмана»! А подешевле не хочешь? Думаю, что сигарета третьего сорта тоже сойдет! – И протягиваю ему открытый портсигар. Но в тот же миг отдергиваю руку: позавчера мне исполнилось двадцать пять лет, девушки каким-то образом об этом проведали, и за ужином, поднимая со своей тарелки салфетку, я почувствовал, что в ней завернуто что-то тяжелое – это был портсигар, подарок ко дню рождения. Однако Ференц успел заметить новую вещь: в нашей тесной компании малейший пустяк – событие.

– Э, а это что такое? – гудит он. – Новая амуниция!

Он спокойно забирает у меня портсигар (что я могу поделаться?), ощупывает его, осматривает и, наконец, взвешивает на ладони.

– Слушай, – поворачивается он к полковому врачу, – по-моему, это настоящее. Ну-ка погляди как следует, ведь твой почтенный родитель знает толк в таких делах, да и ты, наверное, лицом в грязь не ударишь.

Полковой врач Гольдбаум, сын ювелира из Дрогобыча, водружает пенсне на свой несколько толстоватый нос, берет портсигар, взвешивает в руке, разглядывает со всех сторон и с видом знатока постукивает по крышке согнутым пальцем.

– Золото, – ставит он окончательный диагноз. – Чистое золото, с пробой и чертовски тяжелое. Всему полку можно зубы запломбировать. Семьсот – восемьсот крон цена.

Произнеся свой приговор, изумивший прежде всего меня самого (я был уверен, что это обыкновенная позолота), он передает портсигар Йожи, который берет его уже куда почтительнее (подумать только, какое благоговение мы, молодые парни, испытываем перед драгоценностями!). Йожи рассматривает его, ощупывает, глядится в зеркальную поверхность крышки и, наконец, нажав рубиновую кнопку, открывает его и озадаченно восклицает:

– Ого, надпись! Слушайте, слушайте! «Нашему милому другу Антону Гофмиллеру ко дню рождения. Илона, Эдит».

Теперь все трое уставились на меня.

– Черт побери! – с шумом выдыхает наконец Ференц. – А ты за последнее время неплохо научился выбирать себе друзей. Мое почтение. От меня бы ты получил самое большое латунную спичечницу.

Судорога сдавливает мне горло. Завтра весь полк будет знать о золотом портсигаре, который мне подарили девицы Кекешфальва, и наизусть повторять надпись. «Что ж ты не покажешь свою шикарную коробочку?» – скажет Ференц в офицерском казино, чтобы высмеять меня; и мне придется «покорнейше» предъявлять подарок господину ротмистру, полковнику. Все будут взвешивать его в руке, оценивать и, ухмыляясь, читать надпись; затем неизбежно начнутся расспросы и остроты, а мне в присутствии начальства нельзя быть невежливым.

В смущении, спеша закончить разговор, я предлагаю:

- Ну как, еще партию в тарок?

Тут их добродушные усмешки сменяются хохотом.

- Как тебе это нравится, Ференц? - подталкивает его Йожи. - Теперь, в половине первого, когда лавочка закрывается, ему приспичило играть в тарок!

А полковой врач, лениво откидываясь на спинку стула, изрекает:

- Как же, как же, счастливые часов не наблюдают.

Все хохочут, смакуя пошлую шутку. Но вот приближается маркер Эуген и почтительно, но настойчиво напоминает: «Закрываемся, господа!» Мы идем вместе до самой казармы - дождь прекратился - и на прощание пожимаем друг другу руки. Ференц хлопает меня по плечу: «Молодец, что заглянул к нам!» - и я чувствую, что это говорится от чистого сердца. Почему я, собственно, так расвирепел? Ведь все трое как один хорошие, славные ребята, без тени недоброжелательства и зависти. А если они слегка прошлись на мой счет, так это не со зла.

Верно, зла они мне не желали, эти добрые малые, но своими идиотскими расспросами и насмешками безвозвратно лишили меня уверенности в себе. Дело в том, что необычные отношения с Кекешфальвами удивительнейшим образом укрепили во мне чувство собственного достоинства. Впервые в жизни я ощутил себя дающим, помогающим; и вот теперь я узнал, как смотрят другие на эти отношения, или, вернее, какими неизбежно должны они казаться людям, не знающим всех скрытых взаимосвязей. Но что могли понять посторонние в утонченной радости сострадания, которой - не могу выразить это иначе - я отдался, словно неодолимой страсти! Для них было совершенно бесспорно, что я окопался в щедром, гостеприимном доме единственно ради того, чтобы, втеревшись в доверие к богачам, пировать за их счет и выклянчивать подачки. При этом в душе они вовсе не желают мне зла - славные ребята, они не завидуют ни моему теплому местечку, ни хорошим сигарам; без сомнения, они не видят ничего бесчестного или нечистоплотного - а это как раз и бесит меня больше всего! - в том, что я позволяю «штафиркам» носиться со мной, - по их понятиям, наш брат кавалерийский офицер еще оказывает честь этакому торгашу, садясь за его стол. Без всякой задней мысли

Ференц и Йожи восхищались золотым портсигаром – напротив, им даже внушило некоторое уважение то, что я сумел заставить раскошелиться моих покровителей. Но сейчас меня беспокоит другое: я сам начинаю сомневаться в собственных побуждениях. Не веду ли я себя и впрямь как нахлебник? Могу ли я, взрослый человек, офицер, допускать, чтобы меня изо дня в день кормили, поили и обхаживали? Вот, например, этот золотой портсигар – его мне ни в коем случае не следовало брать, точно так же, как и шелковое кашне, которое они недавно повязали мне на шею, когда на дворе дул сильный ветер. Куда это годится, чтоб кавалерийскому офицеру совали в карман мундира сигары «на дорогу», да еще – господи! завтра же поговорю с Кекешфальвой! – еще эта верховая лошадь! Только сейчас меня осенило: позавчера он что-то бормотал, будто мой гнедой мерин (которого я купил, разумеется, в рассрочку и еще не расплатился) не так уж хорош с виду; в этом он – увы! – не ошибся. Но то, что он хочет одолжить мне со своего завода трехлетку, «отличного коня, на котором вам не стыдно будет показаться», – это уж нет, увольте. Вот именно, «одолжить» – теперь-то я понимаю, что это значит! Старик обещал Илоне приданое при условии, что она всю жизнь будет опекать его больную дочь, а теперь он намерен купить и меня, заплатив наличными за мое сострадание, мои шутки, мою дружбу! А я, простофиля, чуть было не попался на эту удочку, даже не заметив, что все время унижаю себя, превращаюсь в приживала!

«Чепуха!» – тут же говорю я себе, вспоминая, как старик робко дотронулся до моего рукава, как светлеет всякий раз его лицо, едва я переступаю порог. Я знаю – сердечная, братская дружба связывает меня с обеими девушками; нет, они не считают, сколько рюмок я выпил, а если что и заметят – искренне радуются, что мне у них хорошо. «Чушь! Ерунда! – твержу я себе снова и снова. – Глупости! Этот старик любит меня больше, чем родной отец».

Но какой толк уговаривать и убеждать себя, если внутреннее равновесие нарушено! Я чувствую, что Йожи и Ференц своим подтруниванием положили конец чувству полной непринужденности. «Ты в самом деле ходишь к этим богатым людям только из сострадания, только из сочувствия? – придирчиво спрашиваю я себя. – А нет ли здесь изрядной доли тщеславия и жажды удовольствий? Так или иначе, но ты обязан внести во все это ясность». И, чтобы начать сразу, я решаю сократить отныне свои посещения и завтра же пропустить обычный визит в усадьбу.

Итак, на следующий день я у них не появляюсь. После службы мы с Ференцем и Йожи вваливаемся в кафе; просмотрев газеты, начинаем неизбежную партию в тарок. Но я играю дьявольски скверно; прямо против меня, в обшитой панелью стене, круглые часы, и вместо того, чтобы следить за картами, я веду счет времени – четыре двадцать, четыре тридцать, четыре сорок, четыре пятьдесят... В половине пятого, когда я обыкновенно прихожу к чаю, все уже бывает приготовлено; и если я запаздываю на какие-то четверть часа, меня встречают возгласом: «Что-нибудь случилось сегодня?» Они настолько привыкли к моему аккуратному появлению, что считают это как бы моей обязанностью; за две с половиной недели я не пропустил ни одного вечера, и, должно быть, теперь они смотрят на часы с таким же беспокойством, как я, и ждут, ждут... Надо бы хоть позвонить и сказать, что я не приду. Или, пожалуй, лучше послать денщика?..

– Послушай, Тони, ты сегодня отвратительно играешь! Не зевай! – злится Йожи и бросает на меня свирепый взгляд. Моя растерянность стоила нам партии. Я стряхиваю с себя оцепенение.

– Знаешь что, давай поменяемся местами.

– Пожалуйста, но к чему?

– Сам не знаю, – вру я, – уж очень тут шумно, это мне действует на нервы.

На самом же деле я не хочу видеть часы и неумолимое движение стрелок минута за минутой. Все меня раздражает, я ни на чем не могу сосредоточиться, снова и снова мучаюсь сомнением – может быть, снять телефонную трубку и извиниться? Лишь сейчас я начинаю сознавать, что подлинное сочувствие – не электрический контакт, его нельзя включить и выключить, когда заблагорассудится, и всякий, кто принимает участие в чужой судьбе, уже не может с полной свободой распоряжаться своею собственной.

«Да пропади оно все пропадом, – злюсь я на самого себя, – ведь не обязан же ты изо дня в день таскаться туда и обратно!» И, повинувшись тайному закону взаимодействия чувств, по которому недовольство собой вызывает желание свалить вину на другого, я, подобно бильярдному шару, передающему дальше полученный им удар, обращаю свое дурное настроение не против Йожи и Ференца, а против Кекешфальвов. Ничего, пусть подождут разок! Пусть

увидят, что меня не купишь подарками и любезностями, что я не являюсь в урочный час, точно какой-нибудь массажист или учитель гимнастики. Незачем приучать их, привычка связывает, а я не хочу чувствовать себя связанным каким-либо обязательством. Так, глупо упорствуя, просиживаю я в кафе три с половиной часа, до половины восьмого, стараясь доказать самому себе, что я свободен приходить и уходить, когда мне вздумается, и что вкусная еда и отменные сигары у этих Кекешфальвов мне совершенно безразличны.

В половине восьмого мы поднимаемся из-за стола – Ференц предложил пошататься немного по Корсо. Но едва я вслед за приятелем переступаю порог кафе, как чей-то знакомый взгляд мельком задерживается на мне. Постой-ка, да ведь это Илона! Ну конечно! Даже если бы я не восхищался еще позавчера пурпурным платьем и широкополой шляпой с лентами, я бы все равно узнал ее по походке, по мягкому, плавному покачиванию бедер. Но куда ж она так спешит? Это не прогулочный шаг, а стремительный бег; впрочем, как бы там ни было – поскорей за милой пташкой, не дадим ей упорхнуть!

– Пардон, – несколько бесцеремонно бросаю я ошеломленным друзьям и поспешно устремляюсь за платьем, мелькающим уже на другой стороне улицы. Я и в самом деле безмерно рад, что племянницу Кекешфальвы каким-то ветром занесло в мой гарнизонный мирок.

– Илона, Илона! Погодите! Постойте! – кричу я ей вслед, меж тем как она продолжает идти с поразительной быстротой. В конце концов девушка останавливается, и я вижу, что наша встреча ее несколько не удивляет. Разумеется, она заметила меня еще тогда, при выходе из кафе. – Это просто замечательно, Илона, что я встретил вас в городе. Я уже давно мечтаю прогуляться с вами по нашим владениям! Или, может, лучше заглянем на минутку в знаменитую кондитерскую?

– Нет, нет, – бормочет она чуть смущенно. – Я тороплюсь, меня ждут дома.

– Не беда, подождут еще пять минут. На всякий случай, чтобы вас не поставили в угол, я выдам вам оправдательный документ. Не смотрите на меня так сурово, пойдете!

Вот бы взять ее под руку! Я от души рад, что в другом своем мире встретил именно ее, ту из них, с которой не стыдно показаться, а если я попадусь на глаза

товарищам с такой красавицей – тем лучше. Но Илона чем-то встревожена.

– Нет, правда, мне нужно домой, – поспешно отвечает она, – вон и автомобиль ждет.

И в самом деле, с площади Ратуши меня почтительно приветствует шофер.

– Но до машины-то вы мне позволите вас проводить?

– Разумеется, – бормочет она с какой-то непонятной тревогой, – разумеется...  
Кстати... почему вы сегодня не пришли?

– Сегодня? – медленно переспрашиваю я, словно что-то припоминая. – Сегодня?..  
Ах да, дурацкая история. Полковник надумал обзавестись новой лошадкой, так вот нам всем пришлось идти любоваться покупкой да еще по очереди объезжать коня. (В действительности это произошло еще месяц назад. Да, врать я не умею.)

Илона колеблется, желая что-то возразить. (Почему она все время тербит перчатку и нетерпеливо притопывает ножкой?) Потом вдруг быстро спрашивает:

– Может быть, вы сейчас поедете вместе со мной?

«Держись, – говорю я себе. – Не поддавайся! Хоть раз, хоть один-единственный день!» И я огорченно вздыхаю.

– Как жаль, мне страшно хотелось бы поехать. Но сегодняшней день все равно потерян: вечером у нас собирается компания, я должен быть там.

Она пристально смотрит на меня (странно, в эту минуту между бровями у нее появляется та же нетерпеливая складка, что и у Эдит) и не произносит ни слова, не знаю – из нарочитой невежливости или от смущения. Шофер распахивает дверцу, Илона с шумом захлопывает ее за собой и спрашивает меня через стекло:

– Но завтра вы придете?

– Да, завтра непременно.

Автомобиль трогается с места.

Я не очень доволен собой. Что означает эта торопливость Илоны, это беспокойство, точно она опасалась, как бы ее не увидели со мной, почему она так поспешно уехала? И потом: мне следовало по крайней мере из вежливости передать привет ее дяде, несколько теплых слов Эдит – ведь они не сделали мне ничего дурного! Но, с другой стороны, я доволен своей выдержкой. Я устоял. Как бы там ни было, а теперь они уже не подумают, что я им навязываюсь.

Хоть я и обещал Илоне прийти на следующий день в обычное время, я предусмотрительно заранее извещаю по телефону о своем визите. Лучше строго соблюдать все формальности. Формальности – это гарантии. Мне хочется показать, что я не прихожу в дом незванным гостем; отныне я намерен всякий раз осведомляться, насколько желателен мой визит. Впрочем, можно не сомневаться, что меня ждут, – слуга уже стоит перед распахнутой дверью и, когда я вхожу, угодливо сообщает:

– Барышня наверху, на террасе. Они изволят просить господина лейтенанта подняться к ним. – И добавляет: – Кажется, господин лейтенант еще никогда не были наверху? Господин лейтенант будут удивлены, до чего там красиво.

Он прав, добрый старый Йозеф. Я и в самом деле ни разу не бывал на башне, хотя часто и с интересом разглядывал это странное, нелепое сооружение. Некогда, как я уже упоминал, эта угловая башня давно развалившегося или снесенного замка (даже девушкам история усадьбы в точности неизвестна) – громоздкое квадратное строение – долгие годы пустовала и служила складом. В детстве Эдит, к ужасу родителей, часто взбиралась по шатким ступенькам на чердак, где среди старого хлама метались сонные летучие мыши и при каждом шаге по прогнившим балкам взлетало густое облако пыли.

Но именно за его таинственность и бесполезность склонная к фантазиям девочка избрала местом своих игр и сокровенным убежищем это ни к чему не пригодное помещение, из грязных окон которого перед ней открывался

бескрайний простор; а когда случилась беда и Эдит уже не смела надеяться – ее ноги в ту пору были совершенно неподвижны – побывать снова на своем романтическом чердаке, она почувствовала себя ограбленной; отец часто замечал, с какой горечью поглядывает она иной раз на неожиданно утерянный рай детских лет.

И вот, чтобы сделать ей сюрприз, Кекешфальва воспользовался тремя месяцами, которые Эдит проводила в Германии в санатории, поручил одному венскому архитектору перестроить старую башню и сделать наверху удобную террасу; когда осенью Эдит после едва заметного улучшения привезли домой, надстроенная башня была уже оборудована просторным лифтом, и больная получила возможность, не покидая кресла, в любой час подниматься наверх; так она вновь обрела мир своего детства.

Архитектор, несколько стесненный во времени, больше заботился о практических удобствах, нежели о сохранении стиля; жесткие прямые формы голого куба, насаженного на четырехугольную башню, были бы гораздо уместнее в портовом доке или на электростанции, чем рядом с уютными и замысловатыми барочными линиями маленькой усадьбы, построенной, вероятно, еще во времена Марии-Терезии. Но так или иначе, желание отца оказалось исполненным: Эдит была восхищена террасой, неожиданно избавившей ее от тесноты и однообразия комнат. С этой наблюдательной вышки, принадлежавшей только ей одной, она могла обозревать в бинокль обширную, плоскую, как тарелка, равнину и все, что творилось вокруг – сев и жатву, труд и забавы. Вновь связанная с миром после многолетнего уединения, она часами глядела на веселые игрушечные поезда, которые проносились вдали, оставляя крендельки дыма; ни одна повозка на шоссе не ускользала от ее любопытного взгляда, и, как я потом узнал, она часто наблюдала наши выезды на учебный плац. Но из какого-то странного чувства Эдит ревниво оберегала от гостей свой наблюдательный пост, словно это был ей одной принадлежащий мир. Увидев, как взволнован добрый Йозеф, я понял, что приглашение в эту обычно недоступную «обсерваторию» следует расценивать как особое отличие.

Слуга хотел поднять меня на лифте; он явно гордился тем, что управление дорогой машиной было доверено только ему одному. Но я отказался, узнав от него, что наверх можно пройти по узкой винтовой лестнице, на которую падал свет из пробитых в наружной стене отверстий; я сразу же представил себе, как интересно, должно быть, поднимаясь с этажа на этаж, обозревать все

новые дали; и действительно, каждая из этих узких, незастекленных амбразур открывала чарующую картину. Над летним ландшафтом, точно золотая паутина, лежал безветренный, ясный, горячий день. Почти недвижно застыли струйки дыма над трубами одиноких домов и усадеб; виднелись – каждый контур будто ножом врезан в ярко-синее небо – крытые соломой хижины с неизбежным гнездом аиста на коньке крыши и сверкавшие, как отшлифованный металл, утиные водоемы. Среди восковых нив мелькали крохотные фигурки крестьянок, на пруду женщины полоскали белье, на лугах паслись пятнистые коровы, по тщательно расчерченным квадратам полей тащились запряженные волами тяжелые возы и сновали проворные тележки. Когда я поднялся примерно на девяносто ступеней, моему взору открылась чуть ли не вся Венгерская равнина до подернутого дымкой горизонта, над которым тянулась волнистая синеватая линия – вероятно, Карпаты; слева же, поблескивая луковкой колокольни, уютно расположился наш городок. Я узнал казарму, ратушу, школу, учебный плац; впервые со дня моего приезда в здешний гарнизон я ощутил непритязательное очарование этого заброшенного уголка.

Но предаваться безмятежному и радостному созерцанию мне было некогда – я уже добрался до террасы и должен был приготовиться к встрече с больной. Сначала я ее вообще не обнаружил: передо мной оказалось мягкое соломенное кресло с широкой спинкой, которая, словно пестрая выпуклая раковина, скрывала фигуру Эдит. Лишь по стоявшему рядом столику с книгами и открытому граммофону я понял, что она здесь. Я не решился подойти к ней без предупреждения – это могло бы испугать девушку, если она задремала или замечталась, – и двинулся вдоль парапета, чтобы оказаться у нее перед глазами. Но, сделав несколько осторожных шагов, я заметил, что она спит. Худенькое тело заботливо уложено в кресло-каталку, ноги укутаны мягким одеялом, голова покоится на белой подушке; обрамленное рыжеватыми волосами овальное детское личико слегка повернуто, и заходящее солнце придает ему янтарно-золотистый оттенок – некую видимость здоровья.

Невольно я останавливаюсь и в нерешительном ожидании разглядываю спящую, как разглядывают картину. Ведь, по правде говоря, несмотря на то, что мы часто бывали вместе, мне еще ни разу не представлялось случая посмотреть на нее в упор, ибо она, как все чувствительные и сверхчувствительные люди, инстинктивно противится таким настойчивым взглядам. Даже если нечаянно во время разговора поднимешь на нее глаза – сразу же ее лоб между бровями прорезает сердитая складка, взор становится тревожным, губы дрожат; ее лицо не остается спокойным ни на секунду. И только теперь, когда она, беззащитная, неподвижно лежит с закрытыми глазами, я могу впервые (испытывая при этом

такое ощущение, будто делаю что-то неподобающее, чуть ли не ворую) рассмотреть Эдит. В угловатых, как бы незавершенных чертах ее лица удивительным образом сочетается детское с женственным. Губы полураскрыты, как у жаждущей; она дышит тихо и ровно, но даже это ничтожное усилие вздымает холмики ее детской, едва наметившейся груди; как бы в изнеможении припало к подушке бескровное лицо в рамке рыжеватых волос. Я осторожно подхожу ближе. Тени под глазами, синие жилки на висках, розовато просвечивающие крылья носа выдают, какой тонкой, прозрачной оболочкой защищает ее от окружающего мира алебастрово-бледная кожа. Каким впечатлительным должен быть человек, подумалось мне, если его нервы почти обнажены; как нестерпимо должно страдать это легкое, как пушинка, тело, словно нарочно созданное для бега, для танца, для парения, но беспощадной судьбой навсегда прикованное к жестокой, тяжелой земле! Несчастливая! Я вновь чувствую, как во мне забил горячий источник, вновь ощущаю мучительно опустошающий и в то же время невероятно волнующий прилив сострадания; мои пальцы дрожат от желания ласково погладить ее руку, мне хочется наклониться над спящей и сорвать с ее губ улыбку, если она проснется и узнает меня. Порыв нежности, которая неизменно появляется вместе с чувством сострадания, когда я думаю о ней или гляжу на нее, толкает меня ближе к креслу. Только бы не спугнуть этот сон, который уносит ее от самой себя, от суровой действительности. Внутреннюю близость к больным полнее всего ощущаешь, когда видишь их спящими, когда все страхи спят вместе с ними и они совершенно забывают о своем недуге, а на полуоткрытые губы, словно бабочка на трепещущий лист, опускается улыбка – чуждая, совсем не свойственная им улыбка, которая исчезает в первый же миг пробуждения. Какой это дар божий, думаю я, что искалеченные, изуродованные, обиженные судьбой хоть во сне не помнят о своих недугах, что добрый волшебник-сон тешит их иллюзией красоты и совершенства, что в мире сновидений страдальцу удастся избавиться от проклятия, тяготеющего над его телом! Но больше всего меня умиляют руки девушки, скрещенные поверх одеяла, – эти нежные, в бледных прожилках, тонкие кисти с хрупкими суставами и заостренными голубоватыми ногтями, бескровные и немощные. Они, быть может, еще достаточно сильны, чтобы приласкать маленького зверька или птичку – кролика, голубя, – но слишком слабы, чтобы схватить, удержать что-нибудь. Можно ли, содрогаясь, думаю я, такими беспомощными руками защищаться от настоящего страдания, бороться, отбиваться? И я почти с отвращением вспоминаю о своих собственных руках, крепких, тяжелых, мускулистых, одним рывком поводев усмиряющих самого строптивого коня. Невольно мой взгляд падает на ворсистое одеяло, которое тяжелым, слишком тяжелым для такого воздушного существа грузом придавило ее острые колени. Под этим

непроницаемым для глаз покровом лежат в мертвой неподвижности (я не знаю – разможенные, парализованные или просто ослабшие, – у меня никогда не хватало мужества спросить) бессильные ноги, стиснутые стальными или кожаными шинами. При каждом движении страшные аппараты, словно кандалы, сжимают непослушные суставы, она вынуждена повсюду волочить за собой эту дребезжащую, скрипучую мерзость, – она, нежная, слабая, та, которой самой природой предназначено не ходить, а бегать и летать как на крыльях!

Эта мысль заставила меня вздрогнуть так сильно, что даже зазвенели шпоры. Конечно, шум был ничтожный, еле слышное бряцание, и все же оно донеслось к ней сквозь сон, разорвав его тонкую оболочку. Беспокойно вздохнув, она еще не открывает глаз, но ее руки уже просыпаются; они разжимаются, потягиваются, снова сжимаются, как будто пальцы, пробуждаясь, зевают. Потом ресницы приподымаются, растерянно моргают, а глаза с удивлением ощупывают все вокруг.

Вдруг ее взор останавливается на мне и сразу же делается пристальным; пока это чисто зрительный контакт, еще не включивший определенную мысль или воспоминание. Еще одно усилие, и вот она уже совсем проснулась и узнала меня; кровь пурпурной струей заливает ее щеки, разом отхлынув от сердца. И снова, как в тот раз, мне кажется, будто хрустальный бокал внезапно наполнили алым вином.

– Как глупо, – говорит она, резко сдвинув брови, и нервным движением натягивает на себя сползшее одеяло, точно я застал ее обнаженной, – как глупо получилось! Должно быть, я задремала на минутку. – И уже – мне знаком признак надвигающейся грозы – у нее слегка раздуваются ноздри. Она смотрит на меня с вызовом. – Почему вы меня сразу не разбудили? Нехорошо разглядывать спящего! Это неприлично! Всякий выглядит смешно, когда спит.

Задетый тем, что моя бережность вызвала ее гнев, я пытаюсь отделаться глупой шуткой.

– Лучше выглядеть смешно во сне, чем наяву, – отвечаю я.

Но она, ухватившись обеими руками за подлокотники, уже уселась повыше, складка между бровями обозначилась еще резче, вокруг губ уже задрожали

зарницы. Она впилась в меня взглядом.

– Почему вы вчера не пришли?

Удар нанесен слишком неожиданно, чтобы я мог сразу же отразить его. А она продолжает инквизиторским тоном:

– Надо думать, у вас были особые причины заставить нас понапрасну ждать? Иначе вы бы хоть позвонили.

Какой же я идиот! Именно этот вопрос мне следовало предвидеть и заранее приготовить ответ. Я же смущенно переминаюсь с ноги на ногу и уныло пережевываю старую отговорку, что, мол, у нас неожиданно был назначен смотр ремонтных лошадей. В пять часов я еще надеялся, что сумею улизнуть, но полковнику захотелось показать нам своего нового коня... и так далее и тому подобное.

Она не сводит с меня взгляда – мрачного, строгого, пронизывающего. И чем больше я вдаюсь в подробности, тем пристальнее и недоверчивее становится этот взгляд. Я вижу, как нетерпеливо постукивают по ручкам кресла ее пальцы.

– Вот как, – произносит она наконец сквозь зубы. – А чем кончилась трогательная история с ремонтным смотром? Купил в конце концов господин полковник эту новую-преновую лошадь?

Я чувствую, что страшно запутался. Раз, другой, третий ударяет она перчаткой по столу, словно стремясь этим движением унять внутреннюю тревогу. Затем угрожающе смотрит на меня.

– Довольно, оставьте вашу глупую ложь! Все это неправда от первого до последнего слова. Как вы только смеете угощать меня такими бреднями?

Резче, еще резче хлопает по столу перчатка. Затем Эдит решительно швыряет ее на пол.

– Во всем этом вздоре нет ни капли правды. Ни капельки! Вы не были в манеже, и никакого ремонтного смотра у вас не было! Уже в половине пятого вы сидели

в кафе, а там, насколько мне известно, лошадей не объезжают. Нечего водить меня за нос! Наш шофер совершенно случайно видел вас за карточным столом в шесть часов.

Я все еще не могу вымолвить ни слова. Но она вдруг обрывает себя:

– А впрочем, к чему мне вас стесняться? Неужели из-за того, что вы лжете, я тоже должна играть с вами в прятки? Я не боюсь говорить правду. Так вот, знайте же: наш шофер видел вас в кафе не случайно, это я послала его туда, чтобы разузнать, что с вами случилось. Я думала, вы, чего доброго, заболели или с вами стряслась какая-нибудь беда, раз вы даже не позвонили, и... можете считать, если угодно, что у меня шалют нервы... но я не выношу, когда меня заставляют ждать, просто не терплю этого... Вот я и послала шофера. В казарме ему сказали, что господин лейтенант живы-здоровы, сидят в кафе и играют в тарок. Тогда я попросила Илону узнать, почему вы обходитесь с нами столь бесцеремонно... может, я вас чем-нибудь обидела позавчера... иной раз я и в самом деле не владею собой... Вот видите, мне не стыдно во всем этом признаться... А вы сочиняете какие-то дурацкие отговорки... Неужели вы сами не чувствуете, как некрасиво, как низко лгать друзьям?

Я уже собрался ответить, у меня даже хватило бы мужества рассказать ей всю нелепую историю с Ференцем и Йожи. Но она запальчиво приказывает:

– Хватит выдумок!.. Не надо больше лгать, довольно! Я сыта по горло, с утра до ночи меня кормят ложью: «Как хорошо ты сегодня выглядишь, как прекрасно ты сегодня ходишь... просто великолепно! Вот видишь, дело пошло на лад...» С утра до ночи одни и те же сладкие пилули; никто не замечает, что они мне опротивели! Почему не сказать прямо: «Вчера я был занят, да и не хотелось идти к вам». Ведь у нас же нет на вас абонеента, и я б несколько не огорчилась, если б вы сказали мне по телефону: «Я сегодня не приду, мы хотим пошататься по Корсо». Неужели вы считаете меня дурой, не способной понять, как вам иной раз надоедает разыгрывать здесь изо дня в день доброго самаритянина и что взрослому человеку приятнее прокатиться верхом или размять свои здоровые ноги хорошей прогулкой, чем постоянно торчать возле чужого кресла? Только одно мне противно, и только одного я не переношу: отговорок, пустых слов, вранья – меня давно тошнит от них! Не так уж я глупа, как все вы думаете, и могу выдержать хорошую дозу искренности. Вот, например, несколько дней назад мы взяли новую судомойку, чешку (прежняя умерла), и в первый же день – ее еще не успели предупредить – она увидела мои костыли и как меня

усаживают в кресло. От ужаса она выронила щетку и в голос запричитала: «Господи Иисусе, жалость-то какая! Такая богатая, благородная барышня – и калека!» Илона, словно тигрица, набросилась на честную женщину, бедняжку хотели немедленно уволить, выгнать вон. А я, я обрадовалась... меня ее испуг не обидел, потому что это по крайней мере честно, по-человечески – испугаться, неожиданно увидев такое. Я подарила ей десять крон, и она сразу же побежала в церковь молиться за меня... Весь день я радовалась... да, да, в самом деле радовалась: наконец-то я узнала, что действительно испытывает посторонний человек, когда видит меня впервые... А вы, вы убеждены, что вашей ложной чуткостью «оберегаете» меня, вы воображаете, будто мне легче от вашей проклятой деликатности. Неужели вы думаете, что у меня нет глаз?! Или вам кажется, что я не угадываю за вашим лепетом и болтовней такого же точно ужаса и замешательства, как у той воистину честной женщины? Разве я не вижу, как у вас перехватывает дыхание, стоит мне только взяться за костыли, и как вы спешите оживить беседу, лишь бы только я ничего не заметила, – будто я вообще не вижу всех вас насквозь с вашей валерьянкой и сладеньким сиропом, сиропом и валерьянкой – всей этой мерзкой дрянью! О, я знаю наверняка, вы вздыхаете с облегчением каждый раз, когда закрываете за собой дверь, бросив меня здесь, словно падаль... я отчетливо представляю себе, как вы, закатив глаза, вздыхаете: «Несчастное дитя!» – и в то же время вы необычайно довольны собой: ведь вы так самоотверженно пожертвовали час-другой «бедной больной девочке». Но я не хочу никаких жертв! Не хочу, чтобы вы считали своим долгом выдавать ежедневную порцию сострадания! Я плюю на ваше всемиловейшее сочувствие! Раз и навсегда, мне не нужно жалости! Хочется вам прийти – приходите, не хочется – не надо! Но только честно, без всяких басен о смотрах и новых лошадях! Я не могу... не могу больше терпеть ложь и вашу мерзкую снисходительность!

Последние слова она выкрикнула, уже не владея собой, лицо ее побелело, глаза горели. Потом напряжение вдруг иссякло, голова бессильно откинулась на спинку кресла, и кровь стала понемногу приливать к губам, еще дрожавшим от возбуждения.

– Ну вот, – выдохнула она едва слышно и словно застыдившись. – Я должна была сказать вам это! А теперь хватит. И не будем больше об этом говорить. Дайте... дайте мне сигарету.

И вдруг со мной случилось что-то небывалое. Обычно я недурно владею собой, рука у меня твердая и уверенная. Но тут эта неожиданная вспышка до того

ошеломила меня, что мои руки будто онемели; я был потрясен, как никогда в жизни. С трудом достаю сигарету из портсигара, протягиваю Эдит и зажигаю спичку. При этом пальцы мои дрожат так сильно, что едва удерживают горящую спичку, огонек колеблется и гаснет. Приходится зажигать вторую, но и она мерцает, затухая в моей дрожащей руке, пока Эдит прикуривает. Моя неловкость бросается в глаза, и Эдит, очевидно, угадывает охватившее меня смятение, ибо голос ее звучит уже совсем по-иному, изумленно и взволнованно, когда она тихо спрашивает меня:

– Что с вами? Вы дрожите... Что... что вас так встревожило? Какое вам, в конце концов, дело до всего этого?

Огонек спички погас. Я молча сел, а Эдит в глубоком смущении пробормотала:

– Как вы можете так огорчаться из-за моей глупой болтовни? Папа прав: вы действительно... действительно необыкновенный человек.

В этот миг за нашей спиной раздается легкое гудение: это поднимается на террасу лифт. Йозеф открывает двери, из кабины выходит Кекешфальва. У него виноватый вид – робость неизменно ссутуливает его плечи всякий раз, когда он приближается к больной.

Я поспешно вскакиваю и кланяюсь ему. Господин фон Кекешфальва смущенно кивает и сразу же наклоняется над Эдит, чтобы поцеловать ее в лоб. Потом наступает тягостное молчание. В этом доме каким-то особым чутьем всегда все узнают; я уверен, старик уже догадался, что между нами что-то неладно; обеспокоенный, он стоит рядом с креслом, не поднимая глаз. Охотнее всего – я это вижу – он бы сейчас же ретировался. Эдит пытается прийти на помощь.

– Знаешь, папа, господин лейтенант сегодня впервые у нас на террасе.

– Да, здесь просто великолепно, – подхватываю я тут же, со стыдом сознавая, что сказал непростительную банальность, и снова умолкаю.

Чтобы разрядить напряжение, Кекешфальва склоняется над креслом:

– Пожалуй, скоро здесь станет слишком свежо для тебя. Может быть, лучше спустимся?

– Хорошо, – отвечает Эдит.

Все мы довольны – каждый отвлекается каким-нибудь пустячным занятием: складывает книги, накидывает на плечи больной шаль, звонит в колокольчик, который и здесь под рукой, как повсюду в этом доме. Через две минуты лифт уже наверху, и Йозеф бережно подкатывает к нему кресло Эдит.

– Мы спустимся вслед за тобой... – Кекешфальва ласково кивает ей вслед. – Может, ты пока приготовишься к ужину? А мы с господином лейтенантом тем временем немного погуляем по саду.

Слуга закрывает дверь лифта. Кабина с парализованной девушкой уходит в глубину, точно в могилу. Невольно мы оба отворачиваемся, старик и я. Мы молчим, но вдруг я замечаю, что он крайне нерешительно приближается ко мне.

– Если вы ничего не имеете против, господин лейтенант, я бы хотел поговорить с вами кое о чем... или, вернее, кое о чем вас попросить... Может быть, пройдем в мой кабинет, он там, в конторе... конечно, если только это вас ни в коей мере не затруднит... А не то... не то мы, разумеется, можем погулять в парке.

– Что вы, я сочту за честь, господин фон Кекешфальва, – отвечаю я.

В это мгновение лифт возвращается за нами. Спустившись вниз, мы проходим через двор к зданию конторы; мне бросается в глаза, как осторожно, прижимаясь к стене, крадется вдоль дома Кекешфальва, как он весь съеживается, точно опасается, что его поймают. Невольно – я просто не могу иначе – такими же бесшумными, осторожными шагами следую за ним и я.

В конце низкого и не очень чисто побеленного здания конторы Кекешфальва открывает дверь; она ведет в его кабинет, который обставлен немногим лучше моей невзрачной комнаты в казарме: дешевый письменный стол, ветхий и расшатанный, старые соломенные стулья, все в пятнах, к выцветшим обоям приколото несколько пожелтевших таблиц, которыми, очевидно, уже много лет никто не пользуется. Даже затхлый запах неприятно напоминает мне наши

полковые канцелярии.

Уже с первого взгляда – я многому научился за эти несколько дней! – мне становится ясно, что вся роскошь, весь комфорт, существующие в этом доме, предназначены только для дочери, себя же старик ограничивает до предела, словно прижимистый крестьянин; когда он шел впереди меня, я впервые заметил, как лоснится на локтях его поношенный черный сюртук, должно быть, он носит его уже лет десять, а то и пятнадцать.

Кекешфальва придвигает мне просторное кресло, обитое черной кожей, единственно удобное во всем кабинете.

– Садитесь, господин лейтенант, прошу вас, садитесь, – говорит он мне ласково, но настойчиво, а сам, прежде чем я успеваю что-либо возразить, устраивается на выдавшем виды соломенном стуле.

И вот мы почти вплотную сидим друг против друга; он мог бы, он должен бы уже начать, я жду его слов с вполне понятным нетерпением: о чем ему, богачу, миллионеру, просить меня, бедного лейтенанта? Но он упорно смотрит вниз, будто старательно разглядывает свои туфли. Я только слышу его тяжелое, сдавленное дыхание.

Наконец Кекешфальва поднимает голову – его лоб покрылся бисеринками влаги, – снимает запотевшие очки, и без этого сверкающего заслона его лицо сразу меняется, становится словно обнаженнее, несчастнее, трагичнее; как очень часто у людей близоруких, его глаза оказываются гораздо более тусклыми и усталыми, чем за блестящими стеклами очков. По слегка воспаленным краям век я догадываюсь, что этот старик спит мало и плохо. И я вновь ощущаю, как меня захлестывает теплая волна, это сострадание – я теперь уже знаю – рвется наружу. И вдруг я вижу перед собой не богатого господина фон Кекешфальву, а старого, обремененного заботами человека.

Но вот, откашлявшись, он начинает.

– Господин лейтенант, – охрипший голос все еще не повинуется ему, – я хочу попросить вас об одной большой услуге. Конечно, я прекрасно понимаю, что не имею ни малейшего права утруждать вас, мы ведь едва знакомы... Впрочем, вы вольны и отказаться... разумеется, вы можете отказаться... По всей

вероятности, это дерзко и навязчиво с моей стороны, но я с первого взгляда проникся к вам доверием. Нетрудно догадаться, что вы... вы добрый, отзывчивый человек. Да, да, да, – трижды повторил он в ответ на мой протестующий жест, – вы в самом деле хороший человек. В вас есть что-то внушающее доверие, и порой... у меня такое чувство, будто вы посланы мне... – Он запнулся, и я понял, что он хотел сказать «Богом», но не решился. – Посланы мне как человек, с которым я могу поговорить откровенно... Моя просьба, впрочем, не столь уж велика... Но что же это я все говорю, даже не спросив, угодно ли вам меня выслушать...

– Что вы, конечно!

– Благодарю вас... Когда ты стар, стоит только взглянуть на человека, и уже видишь его насквозь... Я знаю, что такое хороший человек, знаю это благодаря моей жене, упокой Господи ее душу... Когда она покинула меня, это была первая из моих бед, и все-таки я теперь говорю себе: пожалуй, и к лучшему, что ей не пришлось увидеть несчастье своего ребенка... она этого не перенесла бы. Знаете, когда пять лет назад все началось... я сперва не верил, что так оно и останется... Да и можно ли себе представить, что ребенок, такой же, как все, бегают, играет, вертится юлой... И вдруг всему этому конец, конец навсегда... И потом каждый из нас привык с благоговением относиться к докторам... то и дело читаешь в газетах, что за чудеса они творят, – зашивают раны на сердце, делают пересадку глаз... стало быть... Кто ж усомнится в том, что они сумеют сделать самую простую вещь на свете... помочь девочке, ребенку, который родился здоровым и всегда был совершенно здоров, быстро встать на ноги? Вот почему я не очень испугался поначалу, я никогда не верил, ни на одну минуту не мог поверить, что Бог допустит такое, что Он покарает ребенка, невинного ребенка, на всю жизнь... Да, если б это случилось со мной – что ж, мои ноги достаточно побродили по свету, я могу и без них обойтись... И потом, я не был хорошим человеком, я немало сделал дурного на своем веку, я даже... О чем это я только что говорил?.. Ах да... так вот, если бы пострадал я, было бы понятно. Но как может Бог так промахнуться, поразить не того, кого надо, покарать невинного... ведь это невероятно, чтобы у живого человека, у ребенка, вдруг отнялись ноги. Да из-за чего? Из-за какой-то бациллы, говорят врачи, думая, что этим все сказано... Бацилла... Но ведь это пустой звук, отговорка; правда лишь то, что девочка лежит без движения, не может больше ни ходить, ни бегать, ни резвиться, а ты стоишь рядом и ничем не в силах ей помочь. Это непостижимо, совершенно непостижимо! – Он быстро провел ладонью по спутанным влажным волосам. – Конечно, я обращался ко всевозможным врачам... не пропустил ни одной знаменитости... всех я приглашал.

Они приезжали, давали советы, говорили по-латыни и устраивали консилиумы; один пробовал одно, второй – другое; потом они объявляли, что надеются и верят, и уезжали, получив свой гонорар, а все оставалось по-прежнему. То есть ей стало немного лучше, собственно говоря, значительно лучше. Прежде она лежала плашмя на спине, и все тело было парализовано... Теперь же по крайней мере руки и верхняя часть туловища вполне нормальные, она может сама передвигаться на костылях... ей стало немного лучше, нет, надо быть справедливым, – гораздо лучше. Но никто из них не вылечил ее совсем. Все пожимали плечами и твердили: терпение, терпение, терпение... Только один не отступился от нее, только один – доктор Кондор... не знаю, слышали ли вы когда-нибудь о нем? Ведь вы из Вены?

Я признался, что никогда не слышал этого имени.

– Ну конечно, откуда вам его знать, вы же здоровый человек, а он не из тех, кто любит кричать о себе... Он не профессор, даже не доцент... и не думаю, чтобы он имел широкую практику... вернее, он ее не ищет

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Сноски

1

Федин К. Писатель, искусство, время. М., 1980. С. 280.

2

Бестактного поступка (фр.).

3

Оптом (фр.).

4

Почтительнейше (ит.).

5

Аппетитно (фр.).

6

Колокольню (ит.).

7

Людовика Шестнадцатого (фр.).

8

Большого канала (ит.).

9

Площади Святого Марка (ит.).

10

Во что бы то ни стало (фр.).

11

Опушки (фр.).

12

Кайнц Йозеф (1858–1910) – известный австрийский актер-трагик.

13

Гёте И. В. Баллада «Бог и баядера». Перевод А. К. Толстого.

14

Сорт виски.

15

Сорт сигар.

----

Купить: <https://tellnovel.me/stefan-cveyg/neterpenie-serdca-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)